АНДРЕЙ СЕДЫХ

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

НЬЮ-ЙОРК

АНДРЕЙ СЕДЫХ — КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

АНДРЕЙ СЕДЫХ

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

НЬЮ-ЙОРК

МАЛЬЧИК ЯША

ЯША идет по улице, щурится от сумасшедшего весеннего солнца и осторожно обходит свежие лужи. В другое время было бы приятно пошлепать по грязи босыми ногами или пустить бумажные кораблики. Но сегодня — нельзя. Сегодня суббота, баловаться грех, и на Яше новенький матросский костюм с синим воротником, обшитым белой тесемкой, с двумя якорями по углам. Но самое важное, — это длинные брюки со складкой, совсем, как у взрослых. Костюмчик шил Кравец, портной для штатских и военных, — странный человек, почему-то всегда сидевший на гладильном столе, ловко поджав под себя ноги.

Старик Кравец любил шить мальчикам на рост, так что из рукавов торчали наружу только кончики пальцев.

— Парижский фасон, бормотал Кравец. Последний крик столичной моды... Одного прикладу пошло на три рубля.

Кравец шил костюм долго, месяца два, — торопиться было некуда. Приходя на примерку, он сначала долго пил чай и жаловался, что приклад опять вздорожал, потом разворачивал кусок грубого коленкора, в который

был завернут «костюмчик» и начинал творить: с остервенением вырывал какие-то наметанные белые нитки, с треском отпарывал воротник, вытаскивал изо рта булавки (а что, если он их случайно проглотит?) и, как Микеланджело, любующийся своей работой, отступал на два шага, жмурился от восторга и говорил:

— Жених. Ей Богу, совсем жених. Мадам, взгляните на эту работу и на этого мальчика. Не костюм, а взвейтесь соколы орлами! Чтобы ты мне был здоров!

Так вот, костюм этот был, наконец, готов. По случаю праздника Яше позволили его надеть.

— Погуляй по улице, — сказали Яше. — Не запачкайся, шмаровоз, и не вздумай играть в ашики с твоими босявками. Ты пойдешь с папой в синагогу.

И вот Яша гуляет по улице, стараясь не запачкаться и тщательно обходит дождевые лужи. Вчера в городе было наводнение или, как говорят Яшины товарищи, потоп: все утро хлестал ливень, а потом дождевая вода хлынула с гор, затопила нижнюю часть города и на несколько часов превратила улицы в бурные потоки. Это было очень интересно. На Итальянской какой-то смельчак поплыл в плоскодонке, людей развозили по домам дрогали, накрывшие головы мокрыми мешками, и даже лошадям вода подходила под самое брюхо.

Потом вдруг в клочьях разодранных облаков появилось солнце, засияла радуга, а еще через час вода стала уходить, оставив на мостовой и тротуарах толстый слой серой глины, пивные бутылки, пробки, солому и всякий мусор. В другое время Яша приступил бы к собиранию пробок, которые всегда могут пригодиться в хозяйстве мальчика, но сегодня — нельзя, мешает новенький мат-

русский костюмчик. И, как на зло, никто не попадается навстречу, чтобы полюбоваться Яшиным великолепием.

Наконец, из-за угла выходит старуха Фейга, которая обходит еврейские дома и собирает копейки. Фейга останавливается, всматривается в мальчика своими слезящимися, воспаленными глазами и всплескивает руками:

— Доброй субботы, Яшенька, — говорит она и мелко трясет косматой головой. — Ой, какой ты у меня сегодня нарядный! То́лстым ты уже не будешь, так чтоб ты мне был хоть здоров!

«Что это они все заботятся о моем здоровье? — думает мальчик. — И Кравец, и Фейга. А наша кухарка Христина говорит, что если я буду покупать на улице мороженное, сделанное из молока, в котором купали больных, то я наверно заболею...»

В это время на горизонте показался Андрюша Богатько с Карантинной слободки, чемпион игры в ашики и ужасный задирала. Чемпион шел налегке, босиком, с наслаждением выбирая места, где грязь была поглубже. Богатько сразу оценил новенький матросский костюмчик и с размаху влетел в лужу, чтобы забрызгать зазнавшегося франта. Брызги разлетелись во все стороны, но не попали в цель. Тогда Андрюшка скорчил рожу и скороговоркой сказал:

Яшка барашка
Красная рубашка,
Синие штаны —
Хуже сатаны!

В другое время этот оскорбительный личный выпад послужил бы сигналом к бою, но на этот раз Яша был

настроен миролюбиво, да и драка означала бы испорченный костюм. Чтобы не прослыть трусом, Яша все же подошел вплотную к противнику, слегка толкнул его в грудь ладонью и сказал:

— А ну, тронь!

— А ну, тронь! — ответил Андрюша, и тоже слегка толкнул Яшу ладонью в грудь.

— А ну, не пихайся.

— Сдрейфил?

— Сам ты сдрейфил.

Так мальчики стояли и толкали друг друга до тех пор, пока Богатько вдруг не сменил гнев на милость.

— Пошли купаться, Яшка? Вода после потопа — ужас какая теплая. В купальнях Пиличева на доске написано девятнадцать градусов.

Яша с холодным достоинством отклонил предложение.

— А раньше?! Я занят. Иду в синагогу.

Слегка поколебался и, сбавив голос, немного извиняющимся тоном, добавил:

— ...с папой.

Дескать, — ничего не поделаешь, приходится идти. И, не торопясь, как подобает человеку в длинных штанах, он двинулся к дому. Андрюша с независимым видом пошел в кильватере, время от времени поплевывая длинным плевком сквозь зубы и явно рассчитывая на какое-нибудь неожиданное событие.

— Яшка, — сказал он небрежно, — имею на обмен двадцать покрышек от «Месаксуди». Интересуюсь «Южными».

Двадцать покрышек от папиросных коробок «Месаксуди» были целым богатством, о котором Яша не мог и мечтать. Поэтому, чтобы не остаться в долгу и чем-нибудь щегольнуть перед приятелем, он сообщил, что у них в доме затоплен подвал и что погиб весь запас огурцов и кислой капусты в бочках.

— Нет? Побожись?

— Чтоб я так жил.

Больше не было сказано ни слова, но у мальчиков теперь появилась цель в жизни. Подвал — огромный, загадочный мир, в котором сложено столько сокровищ, — какие-то кадки, сундуки с тряпьем, сломанные стулья, пустые бутылки, — затопленный подвал нужно было обследовать. Во двор они проскользнули незаметно, так, чтобы вредная Христина их не заметила и не помешала бы игре. На пути разогнали компанию взволнованных, галдящих индюков, щелкнули по уху черного котенка, который умчался за помойку и, осторожно прокравшись вдоль стены, остановились перед входом в подвал.

Вниз, в таинственную подвальную глубину, вели десять крутых каменных ступенек. За ними открывался совершенно новый, привлекательный мир, — громадная лагуна зеленовато-грязной воды. Сквозь узкие окна на уровне земли струилось солнце и там, куда падали солнечные лучи, вода казалась изумрудной и на ней играли зайчики. А между тем, она совсем уж не была такой изумрудной, — на поверхности плавали поленья, древесный уголь, какие-то щепки, бутылки, всякая хозяйская дрянь. И над всем этим поднимались сложные запахи сырости, тины, сгнивших огурцов и капусты.

— Завтра татаре придут воду вычерпывать, — почему-то шепотом сказал Яша. — Подрядились за три рубля.

— Жалко, — ответил Андрюша. — Тут, знаешь, покататься можно в лоханке. Настоящее озеро.

Лоханки, в которых стирали белье, плавали тут же, посреди подвала, тихонько стукаясь одна о другую. Чтобы подвести к лестнице самую большую лоханку, мальчики быстро сделали морскую колотушку, привязали к веревке кусок дерева. Андрюша командовал:

— Запускай колотушку! Не так! Тащи взад!... Еще раз. Есть, капитан!

Лоханка, зацепленная колотушкой, дрогнула и на канате плавно пошла к лестнице.

— Я Робинзон, а ты — Пятница, — сказал Андрюша, охваченный священным огнем авантюры. — Сейчас мы отправимся с тобой на пироге объезжать берега нашего острова.

— Я хотел бы быть Робинзоном, — нерешительно высказался Яша. — А ты будешь Пятница.

— Медведь будет Пятницей! Я придумал, — я Робинзон.

— А раньше?! Поезжай один. На легком катере.

— Один раз, — взмолился мальчик. — В первом плаваньи Робинзон — я, во втором — ты. И ты получишь пять «Месаксуди».

Соглашение затягивалось. Тогда Андрюша начал тыкать пальцем в грудь товарища и в себя и скороговоркой считать:

— Эна бена рест, гунтер гунтер жест, эна бена раба, гунтер гунтер жаба!

Яша вышел жабой. Счет был вещью священной, приходилось подчиниться.

Сначала в лоханку сел Робинзон. Корма сразу погрузилась в воду, а нос угрожающе поднялся кверху.

— Пятница, — кричал Робинзон, — распродери твою качалку, садись скорей, а то из-за какого-то паршивца пирогу перевернет прибой!

Последние проблески разума еще удерживали Яшу от этого плавания. Чтобы выиграть время он спросил:

— А что мы будем делать на лагуне?

— Я же сказал. Нужно объехать берега острова Доброй Надежды и попытаться спасти боченки с подмоченным порохом и солониной, выброшенные прибоем.

— С солониной я не согласен, — сказал Яша. — Тут все кошерное. Ты с ума сошел.

— Хорошо. Нужно спасти бочку с пемиканом.

Пемикан, несомненно, был кошерным. Пятница в последний раз взглянул на свой матросский воротник с белой тесьмой, на вышитые якоря и нерешительно шагнул в лоханку, которая качнулась и погрузилась почти до самых краев. В руках мальчиков очутились две доски, заменявшие весла. Лоханка дрогнула, и виляя из стороны в сторону, пошла вперед.

— Курс норд-норд-вест, — командовал Робинзон. — Так держать! Пятница, ветер крепчает. Подними паруса на мачте.

Пятница сидел, боясь шевельнуться. Из-под весла капитана летели фонтаны брызг.

— Не табань, — взмолился мальчик. — Ты мине весь костюм забрызгаешь.

— Налягай на весла, — командовал Робинзон, уже всецело во власти морской стихии. — Ать, два, вместе!

Теперь лоханка была уже посреди подвала и, увеличивая ход, быстро приближалась к противоположной стене, у которой были сложены штабеля дров.

— Завертай, — кричал Яша. — Завертай назад, сейчас налетим!

Было уже поздно. Лоханка коротко и сухо ударилась о дрова, зачерпнула бортом воду и с тихим плеском погрузилась на дно.

Робинзон и Пятница стояли в воде по самую грудь. Потерпевшим кораблекрушение теперь приходилось спасаться вброд. Ноги глубоко уходили в вязкую глину. Платье сразу стало тяжелым и липло к телу. И вода была совсем не такой теплой, как в купальнях Пиличева.

Мальчики брели к выходу из подвала молча. Выбрались на лестницу, и только тогда посмотрели друг на друга. Новенький матросский костюм, гордость мосье Кравеца, напоминал мокрую тряпку, вымазанную глиной. В ботинках противно хлюпала вода.

И в этот самый момент сверху, со двора, раздался до жути заботливый и любящий голос:

— Яшутка, где ты? Папа ждет тебя, чтобы идти в синагогу!

Наступило молчание. Робинзон слегка сопел носом. А Яшутка представил себе папу в его белоснежной, подкрахмаленной жилетке и в субботнем сюртуке. Вот они идут по улице — папа в сюртуке и Яшутка в новеньком матросском костюмчике, и встречные евреи приветливо кланяются и говорят:

— Доброй субботы! Ой, какой у вас большой стал Яшутка. Скоро, Бог даст, он уже будет гимназистом.

А со двора доносился ласковый голос:

— Яшутка, где ты? Где ты, мальчик мой?

И вторил голос кухарки Христины:

— Да что вы, панич, сказились, что ли?

— Я здесь, — сказал Пятница с мужеством самоубийцы, вылезая из подвала на свет Божий.

— Яшка, тикай! — кричал Робинзон, улепетывая к воротам.

Но его верный Пятница не бежал. Он стоял посреди двора, дрожа всем телом от ужаса и стыда, — совсем маленький, беззащитный и несчастный, и повторял:

— Ей Богу, я не нарочно... Папа, я не нарочно!

И он сам не слышал звуков своего голоса.

АРБУЗЫ

На татарских баштанах арбузы поспевали рано, в самом начале июня. Были они небольшие, темно-зеленые, с полосами, и почему-то в Крыму называли их монастырскими. Первый арбуз приносил служивший у нас на побегушках татарчонок Фитка. На лице его была широчайшая улыбка, когда он бережно передавал арбуз матери и говорил:

— Пожалуйста, кушай на здоровье. Отец Ибрагим прислал. Сам прийти не мог в гости. С ружьей баштан сторожит...

Фитка получал новенький гривенник, который немедленно исчезал в его бездонных татарских штанах с мотней, и еще раз обнажал свои великолепные, белые зубы.

— Сладкий будет. Рафинад!

Этот первый арбуз резали за столом торжественно, священнодействуя. Но по настоящему арбузный сезон начинался только в июле, когда наступала тропическая жара. Нога уходила в размягченный асфальт, на листьях отцветших акаций лежала густая пыль и даже на лошадиных головах днем появлялись широкие войлочные

шляпы. В эти дни вся зелень на баштанах сгорала. Арбузы дозревали на раскаленной, потрескавшейся земле, и от них шел пряный, сладкий дух.

Сколько их было! За товарной станцией, на запасных путях, выгружались привозные, астраханские кавуны. Босяки-грузчики выстраивались цепью и белые, полупудовые арбузы летели из рук в руки легко, как мячи. Работали ловко, ровно, без лишних разговоров, и только слышно было, как хлопали ладони грузчиков по тугой, звенящей арбузной корке. В полдень становилось так жарко, что от зноя уже не спасали мокрые мешки, надетые на голову. Старший в артели приказывал:

— Покончим вагон, ребята, и майна-стоп! Шабашить будем.

Когда останавливали, наконец, работу, грузчики первым делом подходили к фонтану и, припав губами к крану, долго и с наслаждением пили холодную воду, стекавшую им за шиворот и на грудь. Потом уходили в холодок, к хлебным амбарам. Закусывали, не торопясь, жирной таранью. Сначала ее били о камень, чтобы как следует размягчить, а потом разрывали в длину, от хвоста до головы. Появлялись разносчики, торговавшие горячими пшенками, жареной рыбой и ледяной бузой. Выбирали арбузы долго, с видом знатоков, щелкали по корке, прислушивались к звуку, словно настраивали скрипку и, наконец, легко стукали арбузом о рельсу или о камень. Раздавался хруст, кавун разваливался на рыхлые, кроваво-сочные куски, и никогда я не видел, чтобы грузчик ошибся в своем выборе и попал на зеленый.

Арбуз ели долго, утоляя мучительную, июльскую жажду... Обглодав кусок, презрительно отбрасывали

корку подальше, куда придется, — так до самой осени корки эти гнили на путях, плавали в порту, вместе со всякой дрянью, пустыми бутылками, дохлыми медузами, щепками и соломой.

Покончив с едой, грузчики укладывались на мешках отдыхать. Старики засыпали сразу и начинали могуче храпеть. А молодежь собиралась вокруг гармониста, который лениво перебирая планки пел похабным голосом:

Ах вы, мущины,
Вы гордые павлины,
Пред нами, орлами,
Вы ходите вокруг...

— Небось, у Соньки Беззубой выучился? — гоготали ребята.

Я знал эту девушку, Соньку Беззубую с Карантинной слободки. Как-то под пьяную руку матросы выбили ей передние зубы, и с тех пор за Сонькой и утвердилась эта кличка.

К вечеру, когда спадал зной и ветер менял направление, — он дул уже не с моря, а с гор, нагруженные арбузами телеги тянулись через весь город на Привоз, где высились горы огурцов, огненных помидор, где из корзин с янтарной шаслой, устраивали целые бастионы.

В эти годы мне казалось, что египетские пирамиды — игрушки по сравнению с теми сооружениями, которые воздвигались базарными торговцами из арбузов... Если бы кто-нибудь сказал мне или моему другу Фитке, что существуют на свете страны и города, где арбузы продаются не вагонами, не баржами, и не сотнями, а лом-

тями, — мы, вероятно, долго смеялись бы этой веселой шутке.

Конечно, и у нас, на юге, были люди, покупавшие для дома один — единственный арбуз. Но на Привоз за такими пустяками человек не шел, он заглядывал в фруктовую лавку, выбирал, щелкал, прикладывал ухо и еще требовал сделать надрез. И фруктовщик Кефели тремя ударами ножа вырезал треугольник и с торжеством подавал покупателю пробу, — так палач в средние века показывал толпе отрубленную им голову... Убедившись, что арбуз красный, надрез закрывали тем же треугольником и покупатель тащил свою покупку домой. А Кефели, очень довольный тем, что продал хорошему человеку хороший товар, отправлялся к соседу Цыпке-цирульнику, поговорить о политике. Цыпка был маленький, толстый грек на коротких ножках, с бараньими глазами... Впрочем, он не имеет к рассказу никакого отношения.



Приближался день, которого мы ждали с волнением: мать собиралась на Привоз за арбузами для засола.

Вперед, в качестве разведчика и знатока этого дела, отправлялся Фитка. Ему поручалось выяснить, много ли на Привозе хороших арбузов, и не ждут ли к вечеру свежих?

Фитка гулял по базару с видом покупателя-оптовика, щелкал по кавунам, мимоходом отщипывал на пробу виноград, и татары гнали его, осыпая страшными проклятиями.

Выслушав все ругательства и наевшись винограда и слив, Фитка возвращался домой и давал благоприятное заключение: не кавуны, а рафинад. После этого мать отправлялась за покупками и часа через два приезжал нагруженный воз: заодно с арбузами была куплена корзина винограда, несколько ящиков с зеленью и клеть с цыплятами... Отец сердился, — во дворе и так уже нельзя пройти из-за бесчисленных цыплят, кур, уток и индюков, но мать говорила, что за стол каждый день садится шестнадцать человек, и что меньше чем цыпленка на человека в ее доме не подают.

На следующий день на кухне с утра шли приготовления. Из кладовой выкатывали одну из бесчисленных бочек, в которых на зиму готовилась всякая снедь. Начинали с огурцов и красных помидор, потом солили арбузы. В октябре наступала очередь зеленых помидор, острых как уксус, потом мочили яблоки «Синап», а по первому морозу начинали шинковать капусту. С утра до ночи на кухне стучали ножами, и тогда я наедался сладкими кочерыжками до резей в желудке.

Арбузная бочка была старая, потемневшая от времени, и казалась она мне огромной. С годами понятия о размерах меняются. Возможно, теперь я отнесся бы к ней с полным безразличием, но в те годы я мог достать до ее краев, только взобравшись на табурет. Бочка казалась мне громадной, бездонной и вызывала уважение.

Бочку мыла и скоблила кухарка, терла ее с ожесточением, и почему-то злобно кричала на меня за то, что я, коротая время, пытался утопить в тазе с мыльной водой наловленных на занавеске мух.

Когда все было готово, мне и Фитке поручалась чрезвычайно ответственная задача: таскать из погреба на кухню арбузы. Их мыли, вымазывали горчицей, укладывали рядами в бочку, посыпали какими-то специями, перекладывали укропом и, под конец, заливали рассолом.

В последнюю минуту мать попробовала рассол и сказала:

— Соли мало положили... У ну-ка, давайте мне соль!

Я был хороший, услужливый мальчик. Я немедленно полез в кухонный шкаф, с трудом прочел на коробке первые две буквы «со...» — дальше читать было бесполезно, отсыпал стакан соли и подал его матери.

Содержимое стакана добавили к рассолу и вылили его в бочку. Потом прикрыли арбузы деревянной крышкой и, чтобы они не всплыли, придавили тяжелым булыжником, обмытым крутым кипятком.

Теперь оставалось ждать.



Ждать пришлось недолго.

Через неделю в доме стали происходить странные вещи. Сначала пришла жаловаться кухарка, — на кухне, дескать, стоит тяжелый дух. Мать удивилась, немного обиделась, и пошла проверить: в приличном доме таких вещей не бывает.

На пороге кухни она остановилась, слегка побледнела и отшатнулась.

Дух был, действительно, тяжелый.

Созвали семейный совет. Откуда взяться такому смраду? Фитка и я были подвергнуты допросу с при-

страстием, который не дал никаких результатов: наша совесть была абсолютно чиста. Мы не пытались делать гадостей кухарке, которая кормила нас шкварками и разными другими вкусными вещами.

Отец решил, что где-то сдохла крыса, и что из профилактических целей нужно разобрать пол и обнаружить местонахождение падали.

— Чего же крысе дохнуть? — недоумевала кухарка. — Крысы у нас здоровые, живучие, провизии есть сколько угодно. По мне, извините, барыня, это ваши арбузы завонялись! От бочки так и преть, так и преть...

Арбузы?!

Это были арбузы. Целый воз арбузов, симметрично и заботливо разложенных в бочке, мирно гнил у нас на кухне, — и это в самый разгар холерной эпидемии.

Днем обеда не было. Кухарка бросила передник и ушла, заявив, что пока холеру не уберут из кухни, она на работу не вернется. Мать сидела в спальне, плакала и прикладывала к голове полотенце, смоченное уксусом. Отец отправился искать золоторотцев, которые бы взялись вывезти гниль из нашего дома. Они пришли, заглянули в бочку и сказали:

— Тут товару будет на пять рублей. Меньше не возьмем.

Бочку увезли.

Кухарка вернулась к вечеру и решила вымыть пол горячей водой с содой. Взяла из шкафа коробку и сказала:

— Что это, вся наша сода вышла? Еще на прошлой неделе пол коробки оставалось... Вы, барыня, брали?

— Нет...

Дети никогда не должны вмешиваться в разговоры взрослых и отвечать на их нелепые вопросы. Но я был честный и прямой мальчик, и я сказал:

— Христя, это не сода. Это — соль. И когда арбузы солили, я вам ее и подал. И не полкоробки там было, а всего один стакан.

Тайна гнилых арбузов раскрылась: вместо соли по моей вине в рассол насыпали соду.

К великому огорчению Фитки, меня за это не выпороли. Но кара была жестокая: после этого случая арбузов в нашем доме не солили. И я думаю, что никогда больше в жизни мне не придется отведать таких арбузов, которые готовила дома мать, — острых, пахнущих укропом и лавровым листом, напоенных солнцем с татарских баштанов.

ПУРИМ

СМОТРИ, не разбей блюдо. И пожелай дяде Адольфу счастливого Пурима.

Яша еще совсем маленький, — ему на долгие годы, недавно исполнилось семь лет, а блюдо с пуримскими сластями такое большое и тяжелое... Завернуто оно в белоснежную, подкрахмаленную салфетку, завязанную сверху узлом, но мальчику строго настрого приказано за узел не держать, а нести блюдо, прижав двумя руками к груди. Это не так просто, в особенности, приняв во внимание, что от блюда соблазнительно пахнет еще теплым яблочным штруделем с изюмом, который мать только что вынула из духовки.

С утра Яша уже перехватил несколько гоменташей и маковок в меду, но штрудель ему так и не дали попробовать, — его пекли не для детей, а для дяди Адольфа и для почетных гостей, которые придут вечером к чаю.

Яша не прочь проверить содержимое блюда, — уж очень придирчив дядя Адольф. Сделать это на ходу не так просто, — руки заняты, но орудуя одним носом, который все равно надо вытереть, он осторожно раздвигает края салфетки и заглядывает внутрь. На блюде с цвет-

ными разводами пышно раскинулся подрумяненный, пухлый штрудель с воздушной, слоеной корочкой и жирной, сладкой начинкой. Рядом с ним, как солдаты-пехотинцы расположились в ряд черные ма́ковки, за ними — тесточки в меду и, наконец, большой кусок орехового пряника. Такого пряника, по словам мамы, нет ни у кого в городе. Но самое главное, это — гоменташи, предмет особой заботы и волнения. В прошлом году, на Пурим, когда Яша принес шалахмонес,* дядя Адольф начал его дразнить:

— Почему пирожки кривые?

Тщетно Яша уверял и божился, что пуримские пирожки должны быть именно такой, треугольной формы. Дядька твердил свое, довел мальчика до слез и, хотя подарил на прощанье четвертак, мальчик ушел домой оскорбленный в своих лучших чувствах: назвать мамины пирожки кривыми!

Странный это народ — взрослые, на ходу думает Яша, стараясь не споткнуться и не уронить, не дай Бог, блюдо. Целый год дразнить несуществующими кривыми пирожками... На этот раз он уж не сможет придраться, — я выбрал самые красивые, самой лучшей формы. И кроме того, у меня есть бумага...

Что это за бумага, дядя Адольф узнал только после того, как Яша вошел в дом, поздравил с праздником и с достоинством поставил свой подарок на стол, — стесняться нечего, как говорит мама, дай Бог всем получать такой шалахмонес! Затем он вынул из кармана бумагу — первое стихотворение, написанное им в жизни:

---

* Шалахмонес — сласти, которые посылают в подарок на праздник Пурим.

Шалахмонес приношу
И об одном я вас прошу:
Чтоб о кривых пирожках
Разговору не было в речах!

— Как вам это нравится? — сказал дядя Адольф, обращаясь к домашним. — Этот сморкач уже пишет стихи... Нам не хватало только иметь в семье своего собственного Пушкина!

Все же, дядя ясно остался доволен и на этот раз подарил племяннику новенький, блестящий полтинник. И о кривых пирожках больше не упоминал.

Яша потом писал стихи еще несколько лет. Но Пушкина из него почему-то не вышло.



Весна. В воздухе пахнет талым снегом. Каплет с крыш, оттаявшие под солнцем ледяные сосульки со звоном падают на тротуары и рассыпаются сверкающей бриллиантовой пылью. Закутанные в шали торговки на главной улице городка предлагают прохожим букетики подснежников.

Под ногами чавкающая липкая грязь, из которой трудно вытянуть галоши.

Пять мальчиков с вымазанными сажей и краской лицами, в картонных коронах, и в каких-то тряпках, которые должны изображать тоги древних персов, торопятся из дома в дом. Встречают их радостно:

— Пуримские актеры пришли! Пурим шпилеры!

Актеры разыгрывают сценку, заканчивающуюся полным торжеством Мордухая и царицы Эсфири над ко-

варным Аманом. Царицу играет Зяма-Кошкодав, подложивший себе под рубаху для полноты иллюзии две подушечки-думки и надевший парик бабушки. Как такая полногрудая Эсфирь могла покорить сердце строптивого царя Артаксеркса, — один Бог ведает... Во всяком случае, пьеска кончается счастливо, актеры пускают в ход свои трещотки и, поклонившись зрителям, поют под занавес:

Как Аман жалок
И велик Мордухай!
Дайте нам подарок
И мы скажем Вам: хай!*

К вечеру у объевшихся сластями актеров начинают болеть животы и праздник кончается большой порцией касторки. В те счастливые времена касторка в капсулах еще не была изобретена, — глотали ее прямо со столовой ложки, затыкая носы и почему-то запивали черным, горьким кофе без сахару.



Старый реб Меер мечтательно поглаживает свою огненно-рыжую бороду и говорит:

— Ты уже большой, Яша. Твой папаша, дай ему Бог дожить до ста двадцати лет, отдал тебя в казенную гимназию. Как будто в хедере тебе было бы плохо... Я не возражаю, — если еврейский мальчик имеет хорошего меламеда и может молиться, — пусть себе ходит даже в гимназию!

---

* «Хай» — по древнееврейски — жизнь.

— Ребе, завтра я не иду в гимназию.

— Я думаю! Завтра Пурим. И по этому случаю почитай ты мне из книги Эсфири. Ну, начни здесь.

Желтым ногтем он подчеркивает в Пятикнижии место, с которого надо начать читать. Яша опирается на одну руку, словно голова его внезапно отяжелела от бездны премудрости, слегка начинает раскачиваться слева направо и справа налево и, нараспев, читает:

— Вайи (это было)... бимей (во времена)... Ахашвейроша (Артаксеркса)... амелех (который царствовал)...

— Горе человеку, который сам возлагает на себя корону, учит нас Тора! — восклицает реб Меер... — Читай, Яшенька, читай!

— В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, когда пришло время исполниться повелению царя и указу его, когда надеялись неприятели Иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот и сами Иудеи взяли власть над врагами своими...

Реб Меер сладко дремлет, покачивая головой в такт знакомым словам, — ах, какая книга, какая книга! Чтец тоже начал клевать носом и тихонько думает о своем: сколько денег он получит на этот раз от дяди Адольфа? Если бы дяде пришла в голову безумная мысль дать за шалахмонес целый рубль, Яша купил бы для своей голубятни пару сизых турманов...

— Ну? — кричит на мгновенье проснувшийся ребе. — Ну?

— ...Потому и назвали эти дни Пурим, от имени пур, жребий... Поэтому, постановили Иудеи и приняли на себя и на детей своих праздновать эти ДВА дня каждый год...

Яша останавливается и спрашивает:

— Ребе, тут написано два дня?

— Два, — отвечает реб Меер.

— Почему еврейских мальчиков отпускают из гимназии только на один день, когда тут ясно написано: два дня?

— Что твое начальство в казенной гимназии понимает в еврейских праздниках? — презрительно спрашивает меламед. Первый день — Пурим. Второй день — Шишим Пурим. Четырнадцатый и пятнадцатый день месяца Адар.

После урока Яша собирает четырех евреев-товарищей из своего класса. Они долго шепчутся, разрабатывая военную стратегию. Сомнений быть не может: в книге царицы Эсфири черным по белому сказано: Пурим надо праздновать два дня.

Вот почему, в пятнадцатый день месяца Адара, во время утренней переклички в Казенной Мужской Гимназии, классный наставник отметил в кондуите незаконное отсутствие пятерых учеников иудейского вероисповедания.



Отшумел Пурим, разнесены шалахмонесы, умолкли трещотки и мальчики подсчитали заработанные деньги.

На следующий день после праздника занятия в гимназии начались, как обычно. Первый урок был латинский. Не успел преподаватель открыть «Записки о галльской войне», как дверь распахнулась и на пороге появился инспектор гимназии по прозвищу Головотяп. Сорок парт

грохнули одновременно. Сорок мальчиков вскочили с мест и замерли в почтительной позе. Инспектор быстро прошел к кафедре. Фалды его синего вицмундира воинственно развевались.

Осмотрев класс внимательным взором он вызвал пятерых преступников.

— Почему вы вчера не явились на занятия?

Преступники молчали и тихо сопели. Головотяп подошел к Яше и спросил в упор:

— Ты, например. Почему ты вчера не был на уроках?

— По случаю Шишим Пурима, — пробормотал Яша.

Инспектор извлек из кармана книжицу в черном коленкоровом переплете, открыл ее на заранее заложенной странице и прочитал:

— Учащиеся иудейского вероисповедания освобождаются от занятий в следующие праздники: Новый Год, именуемый Рош Гашона. Один день. Судный День, именуемый Иом Кипур... Один день. Нет, это не то... Вот: Пурим, один день! Почему вы пропустили два дня?

— Первый день — Пурим, — залепетал Яша. — Второй день — Шишим Пурим.

Инспектор сунул под нос несчастному потомку Мордухая книжечку в черном переплете:

— Сие есть официальный справочник праздников для инородцев, одобренный и утвержденный Ведомством Министерства Народного Просвещения по Одесскому Округу... И здесь сказано: Пурим, один день.

Головотяп выдержал паузу и, наслаждаясь эффектом, вынес резолюцию:

— Завтра же принесите удостоверение от вашего казенного раввина Персица, или всем — тройка по поведению.

— Господин инспектор, при чем же тут удостоверение от казенного раввина? — взмолился Яша. — Я могу вам представить лучшее доказательство: Ветхий Завет. В книге Эсфири точно сказано, что евреи должны праздновать Пурим два дня, четырнадцатого и пятнадцатого Адара...

— Ты Ветхий Завет в эту историю не вмешивай, богохульник. А то совсем выгоним из гимназии, — пригрозил инспектор. — Удостоверение от казенного раввина. Или тройка в кондуите!



— С праздником вас, ребе!

— С праздником, Яша! Ну, как идут твои занятия? Реб Меер говорит, что ты уже скоро перейдешь от Мишны к изучению Талмуда. Ой, Яша, Яша! Одной книги Талмуда хватит на целую человеческую жизнь... Рабби Элиазар говорит...

— Ребе, сейчас речь идет не о рабби Элиазаре, а об инспекторе Головотяпе. Он собирается выгнать пятерых учеников евреев из гимназии. Нас, принятых на одних пятерках, по процентной норме! Меня, Семку Штейнгольца, Марка Брахтмана, который живет около Пассажа, сына резника Беню и Абрашу Голодца, вы знаете — сына вдовы Голодца.

Во всем этом была некоторая доля преувеличения. Я не вполне был убежден, что кровожадный инспектор

действительно собирается исключить нас из гимназии. Но чтобы добиться от Григория Яковлевича Персица удостоверения, нужно было несколько сгустить краски.

Раввин снял очки, внимательно взглянул на тщедушного гимназиста и спросил таким тоном, словно он возглавлял Синедрион:

— В чем провинились перед господином инспектором казенной гимназии пятеро еврейских детей?

Несколько минут спустя реб Персиц уже знал все подробности теологического спора между хорошими еврейскими детками и кровожадным инспектором. Чтобы снискать расположение ученого мужа, Яша по памяти процитировал ему то место из десятой главы книги Эсфири, где объясняется, почему Иудеи и потомки их празднуют не только четырнадцатый, но и пятнадцатый день Адара.

Ребе погладил мальчика по голове и сказал:

— В писании сказано: всякого нуждающегося в помощи или совете прими ласково... Что это значит? Это значит: если нужно письмо, письмо будет.

Он раскрыл табакерку, взял щепотку зеленого табаку, громко чихнул и, облегчив таким образом свое бренное тело, надел очки и вооружился пером. Сочинял он долго, старательно, несколько раз перечитывал написанное и, наконец, приложив к письму большую, круглую печать, передал документ пуримскому комедианту.

Полвека спустя, ставший к этому времени солидным мужчиной, Яша мог закрыв глаза, без единой ошибки, прочесть наизусть письмо казенного раввина, которое было в тот же день вручено Головотяпу.

Вот что гласило послание прославленного реб Персица:

«Господин Инспектор!

А что касается того, что Шишим Пурим действительно празднуется в некоторых городах, то с совершенным почтением,

Казенный Раввин
Григорий Яковлевич Персиц».



Когда кончилась четверть года, Яша принес домой отметки. В графе поведения и прилежания стояла пятерка... Да будет благословенна память мудрейшего талмудиста реб Персица, Григория Яковлевича, и да продлит Господь его потомству жизнь на долгие годы!

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

НЕ ЗНАЮ — существуют, вероятно, счастливцы, выигрывающие в ирландский свипстейк. Я таких никогда не встречал. Может быть и встречал, но они об этом ничего не сказали: а вдруг попросит еще взаймы? Сидят эти люди в одиночестве, как скупые рыцари, пересчитывают по вечерам свои деньги. Очень приятное занятие и время летит незаметно.

Особенно много денег для пересчитывания у меня никогда не было. А вот в лотерее я один раз выиграл, да не просто какую-нибудь там мелочь, а первый приз. Я, конечно, предпочел бы получить выигрыш наличными. Но случилось так, что первый приз оказался дойной коровой.

Эту дойную корову я и выиграл.

Человек, не отмеченный перстом Фортуны, никогда ничего не выигравший, живет припеваючи и беззаботно. Придумывает, как бы заработать или где призанять денег. Другое дело — баловень судьбы и счастливец выигравший миллион. Жизнь его сразу превращается в ад. Все завидуют, отпускают по его адресу колкости и все

ломают головы, каким бы способом отнять у зазнавшегося нувориша его состояние.

Человек, выигравший дойную корову, ничем от миллионера не отличается. Он сразу становится предметом всеобщей зависти и недоброжелательства. И если ему всего двенадцать лет, если он состоит учеником второго класса классической гимназии, дорожит честью своего мундира и учебного заведения, — насмешки друзей переносятся не легко.

Вся беда началась с момента, когда за кровный медный пятак я купил на благотворительном базаре в Клубе Приказчиков лотерейный билет.

Дама, продававшая билеты, скрученные трубочкой, ловко слизнула мой пятак и, приторно улыбаясь, спросила:

— Мальчик, а что ты хочешь выиграть?

Я хотел бы выиграть что-нибудь очень полезное и хорошее, — коробку оловянных солдатиков, бумажного змея с большим хвостом и трещеткой, или футбольный мяч. Но, конечно, таких ценных вещей в лотерее не было. Поэтому пришлось ответить уклончиво:

— Спасибо. Мне все равно.

Билетик был зажат в моем кулаке. Назойливая дама-патронесса, кокетливо обвевавшаяся бумажным веером, продолжала приставать:

— Что же ты выиграл? Посмотри.

Собственно, это ее совершенно не касалось и было вторжением в мои личные дела. Но я уже в эти годы понял, что спорить с женщинами бесполезно, покорно снял металлическое колечко и развернул бумажку.

На билетике стоял номер 1.

Дама всплеснула руками, схватилась за списки выигрышей и закричала:

— Номер один! Мальчик из гимназии выиграл корову!

Я не сразу понял подлинные размеры свалившегося на меня несчастья. Дама с веером ринулась меня целовать, а другие уставились, словно ждали, что на их глазах я превращусь в дойную корову, дающую пять кварт молока в день. Затем меня поволокли к выходу, на двор, где у забора стояла злополучная, довольно невзрачная на вид Буренка. Старшина Клуба Приказчиков поздравил меня с выигрышем, сунул в руку веревку и сказал:

— С Богом, молодой человек! Ведите ваш выигрыш домой... Как говорится — корова на дворе, харч на столе. Воображаю, как мамаша обрадуется. Корова за пятак!

Я шел по улице, сгорая от стыда, а за мной, на веревке, покорно плелась корова. Быстро образовалось шествие, — товарищи по гимназии, портовые мальчишки и какие-то подгулявшие мастеровые, хлопавшие Буренку по заду, словно это был чистокровный арабский скакун.

Мальчишки забегали вперед и кричали:

— Андрюша, дай на копейку молока! Корова с кошку, надой в ложку!

Сначала я молчал, но затем не выдержал и начал отругиваться фразой, которую обычно говорили у нас на Юге фабричные девушки приставашим кавалерам:

— Ах, оставьте ваши шутки, лучше кушайте компот!

На этот раз сакраментальная фраза не подействовала, а только подлила масла в огонь. Городской юро-

дивый Юрка, успевший примкнуть к триумфальному шествию, неожиданно выскочил вперед и, замотав головой в разные стороны, дико заревел:

— Мууу... Мууу... Мууу!

Мальчишки, следовавшие за коровой, подхватили мычание. Казалось, по Итальянской улице движется теперь целое стадо, возвращающееся с водопоя... А виновница всего несчастья покорно трусила за мной, опустив голову, и кроткие ее коровьи глаза смотрели по сторонам с некоторой тревогой и укоризной. Будущее представлялось нам обоим в самом мрачном свете.

Шествие, наконец, остановилось около магазина золотых и серебряных вещей, принадлежавшего моим родителям. Это был самый большой магазин в городе, — на стенах тикали бесчисленные ходики с гирьками, отзванивали четверти вестминстерские карийоны, — все часы показывали разное время и звон стоял непрерывный. На полках темнело серебро и мельхиор, покрывались пылью большие терракотовые фигуры и вазы; в витринах под стеклами лежали коробочки с часами Борель и Омега, кольца, брелоки, портсигары с лихими тройками, кавказские серебряные пояса с кинжалами, украшенными чернью... Я привязал корову на тротуаре к тополю и собирался уже войти в магазин, когда на пороге показалась моя мать. В семье у нас, слава Богу, актеров никогда не было. Но в этот момент мать представилась мне воплощением Сарры Бернар в греческой трагедии. На лице ее удивление сменилось растерянностью, потом гневом.

— Что это? — осторожно спросила мать, словно перед ней была не молочная корова, а бык с кровавой

севильской арены, готовый забодать на смерть ее любимого сына.

— Корова, — кротко ответил я. — Из Клуба Приказчиков. За пять копеек.

Не знаю, поняла ли в этот момент мать, какое счастье выпало на долю нашей семьи, отныне и навеки веков обеспеченной собственным парным молоком? Но, как на беду, в этот момент Буренка расставила задние ноги и залила асфальт, перед лучшим магазином в городе, фонтаном зловонной жидкости. Любопытные шарахнулись во все стороны.

Мать слегка застонала. Она знала, что сын ее кончит плохо. Мальчик давно отбился от рук, завел на чердаке голубей, приносил откуда-то в дом живых лягушек и змей, а теперь — корова. Может быть, завтра он захочет поселить на чердаке слона Ямбо, — того самого, который недавно взбесился в Одессе.

— Уведи, — твердо сказала мать, сделав трагический жест. — Уведи эту корову, отдай ее железнодорожному будочнику, у которого есть уже свиньи, отдай ее на бойню, выпусти ее на волю. Но помни — коровы в моем доме не будет! И не забудь затереть лужу на тротуаре!

И мальчишки, наслаждавшиеся этой семейной сценой, ответили, как древнегреческий хор, особенно протяжным «Мууу!».

Приговор был вынесен. Очевидно несчастной Буренке было отказано в убежище в родительском магазине золотых и серебряных вещей. Делать было нечего, приходилось подчиниться. Процессия двинулась дальше. Прохожие останавливались и спрашивали:

— Что случилось? Корову украли?

— Да нет, какое украли! Корова бешеная. Ведут в Карантин, на прививку к доктору Констанцову.

— То-то у нее вид такой скучный... Недавно на Карантинной слободке лошадь от сапа издохла. Ее за городом зарыли в яму и засыпали известью. А ночью цыгане пришли, разрыли, да кожу и содрали. Чувяки будут делать.

Подошел городовой и сразу врезался в толпу.

— В чем дело? Куда прешь?

Городовому объяснили, что гимназист выиграл корову. В полицейской инструкции насчет выигрыша коровы ничего не было сказано, но городовой на всякий случай потребовал, чтобы толпа разошлась, и чтобы я прекратил уличную демонстрацию.

— Это не демонстрация, — сказал я. — Мы ведем корову на базар, к мяснику Нафтули.

— Андрюшка — барышник, запел кто-то в толпе. Андрюшка — коровник! Стакан за копейку, кварта — пятак!

Мясник Нафтули торговал в Пассаже, в темной лавке, стены и пол которой вечно пахли кровью, сырыми опилками и карболкой. На крюках висели мясные туши. Когда я появился в Пассаже, Нафтули рубил топором мясо. И каждый раз, когда его топор со всего размаха падал на деревянное подобие плахи, мне казалось, что Нафтули — палач, и что он рубит голову преступнику.

Корову в Пассаж не пустили. Я оставил ее снаружи под надежной охраной, а сам подошел к прилавку.

— Нафтули, — сказал я печальным голосом, — я пришел продать вам корову.

Я всегда немного побаивался этого громадного, чернобородого человека в окровавленном переднике, у пояса которого болтались большие ножи. Мясник искоса взглянул на меня, в последний раз с гаком опустил на плаху топор и швырнул отрубленную телячью ногу на медную чашу весов.

— Откуда корова? — спросил он. — Краденая? Дохлая?

— Из Клуба Приказчиков. С лотереи-аллегри. Я выиграл.

Нафтули начал хохотать. Я никогда до этих пор не видел, как смеются мясники. Это было нечто страшное. Все громадное тело Нафтули сотрясалось от смеха, а через минуту хохотал весь Пассаж. Евреи мясники чесали руками бороды и, сквозь душивший их смех, говорили:

— Ой, корова из Клуба Приказчиков! Можете себе представить, что это такое!

И они снова принимались хохотать, словно я рассказал им какую-то необыкновенно смешную историю. Наконец, вытерев рукавом выступившие на глазах слезы, Нафтули согласился выйти на улицу, посмотреть «товар».

— Ну, гуртовщик, веди!

Мы вышли на улицу. Корова стояла у края дороги и тихонько пощипывала пыльную траву.

— Вот корова, — сказал я бодрым тоном барышника. — Тысяча фунтов свежего мяса.

— Корова? — переспросил Нафтули, и снова начал давиться от смеха. Где ты видишь корову? Это? Мертворожденная телка. Выкидыш. Хорош бы я был, если

бы стал торговать таким товаром! Подари ее на живодерню!

Нафтули отвернулся, готовясь вернуться в Пассаж.

— Мосье Нафтули, — взмолился я. — Возьмите у меня корову. Купите ее за пять рублей. Корова стоит двадцать пять!

— Мальчик, — сказал Нафтули, — если бы я не знал твою маму, которая всегда покупает у меня самое лучшее мясо, я бы сказал при всем народе, что я о тебе думаю. Мальчик из хорошей семьи, отец бьется, чтобы дать ему образование и вывести в люди, а сын уже позволяет себе такие штучки! Пять рублей! Евреи, — обратился он к мясникам, — видели вы подобное нахальство?

Мясники чесали бороды, посмеивались и молчали. Они знали, что великий знаток человеческих душ Нафтули не упустит такого золотого случая.

— Мосье Нафтули, может быть эта корова и не весит тысячу фунтов. Но она — смирная, хорошая корова. И она стоит гораздо больше, чем пять рублей. Я готов ее отдать за четыре рубля. И даже за три.

Нафтули почувствовал, что дальше играть нельзя. К тому же, дело могли испортить цыгане, сновавшие на базаре. Он принял задумчивый вид и сказал:

— Мальчик, мне тебя жалко. И я знаю твоих родителей. Очень солидные, хорошие люди. Их сыну не подобает ходить по базару с дохлой коровой на привязи и изображать из себя барышника. Вот тебе два рубля. Иди отсюда с Богом. И чтоб ты больше никогда не выигрывал в лотерею. Это тебе мой совет.

Я принял дрожащей рукой два рубля. Мясники снова начали смеяться, поздравляя Нафтули с покупочкой и требовать с меня магарыч. Никакого магарыча я этим кровопийцам не поставил. Два моих рубля были израсходованы позже самым позорным образом: на Электро-биограф, на караимскую халву и на прочие радости жизни.

История с коровой вошла в неписанную летопись моего родного города, не богатую большими событиями. Возможно, еще и сейчас старожилы, сидящие летними вечерами на скамьях в пыльном скверике Айвазовского, вспоминают, как однажды мальчик выиграл за пять копеек корову, и что из этого вышло... Ничего из этого не вышло, если не считать, что репутация моя была навсегда загублена, и потом еще долгие годы, при встрече со мной, карантинные босяки начинали мотать головой и мычали:

— Мууу... Мууу... Дай стакан парного молока за копейку!

ПАРАД, АЛЛЭ!

Как-то мой приятель, жонглер Максимилиан Труцци показывал книгу «Советский Цирк». Много в этой книге было забавного и интересного, — история знаменитых циркачей, рассказ о том, как Дуров дрессирует животных, автобиографические очерки клоунов и акробатов. Долго мы любовались старой цирковой афишей, которая висела лет сорок назад на улицах провинциального русского города:

Большой Европейский
Зверинец
Шотландский Цирк
— и —
Театр Обезьян.
В зверинце будут даваться
ежедневно большие
эффектные представления

Дальше следовало много заманчивых и соблазнительных вещей. По случаю своего бенефиса мадемуазель Варя исполнит стипль-чез на лошади. Мимист-фи-

зиономист г. Генрик покажет всевозможные типы национальностей. Летающая дама в маске. Дамаска и Чу, или два веселых китайца. Четыре Леотаровых, чудо воздуха. Лошадь апортер. И, в заключение, оркестр духовой музыки исполнит «Граф Люксембург в волнах страстей»...

Поверите ли, — мне ужасно стало жаль, что все это было чуть ли не полвека назад, и что я не смогу побывать на бенефисе мадемуазель Вари и полюбоваться «кордебалетом в исполнении дам цирка»... Как объяснить удивительную, притягательную силу цирка? Может быть все дело в том, что это — один из наиболее точных и законченных видов искусства: здесь малейшая неосторожность в движении, упущенное мгновение, плохо рассчитанный жест, ведет к смерти. Может быть тем, что это — единственное место, где зритель переживает полностью все, что происходит на арене: закрывает в ужасе глаза во время двойного сальто-мортале без сетки и хохочет до слез над выходами рыжего клоуна. Какой театр может дать подобную полноту и разнообразие переживаний, и где еще зритель бывает так близок к кулисам, как в цирке?

Я был еще совсем маленьким, щуплым мальчиком, когда в город приезжал «с разрешения местного начальства» Цирк Вяльшина. На афишах были изображены лошади, вставшие на дыбы, и элегантный шталмейстер во фраке с бичом, — и как упоительно он щелкал этим бичом! Высшей мечтой каждого мальчика было раздобыть такой бич и научиться щелкать им сухо и коротко — это должно было звучать, как выстрел из пистолета. Цирк устраивался на Сенной площади. Стены составляли из деревянных щитов, причем дирекция тщательно за-

ботилась о том, чтобы в досках не было дыр и трещин, — подсматривать бесплатно с улицы было трудно. Цирк устанавливали какие-то мрачные люди в вязаных фуфайках и в кепках, надвинутых на глаза. Они ставили скамьи, натягивали парусины вместо крыши, вбивали колышки, и время от времени свирепо кричали:

— Мальчики, не крутитесь под ногами!

И нам было обидно, что эти цирковые люди не понимают нас и не хотят воспользоваться нашей помощью.

В день открытия по улицам города проходил парад, — в колясках ехали красивые цирковые дамы в ярких шелковых платьях, вели лошадей под нарядными попонами, рыжий тащил за собой на веревке собачку, сделанную из тряпок, и в самом конце процессии ехал извозчик с местным оркестром Хазунзуна, который был нанят в подмогу цирковым музыкантам по случаю «гала-спектакля».

А ночью мы стояли у дверей цирка, дрожа от волнения, стараясь во что бы то ни стало проскользнуть внутрь зайцем. Почему именно зайцем? Билет на галерку стоил 20 копеек, и эти 20 копеек можно было раздобыть, но мы считали это ниже своего достоинства: нам казалось, что настоящие знатоки цирка должны проходить зайцем, с риском быть пойманными и избитыми. Мы стояли часами, ожидая случая, — может быть, нужно будет помочь, пронести что-нибудь во внутрь, или просто зазевается билетер? В ворота, ярко освещенные двумя газовыми фонарями, уже валила толпа, изнутри доносилась бравурная музыка, взрывы смеха, и мы с тоской и отчаянием думали, что спектакль-гала уже начался, что мы пропустили номер высшей воль-

тижировки, — сейчас выйдут на арену Четыре Чорта, потом будут шотландские жонглеры-эксцентрики Иванцовы, и мы не увидим самого интересного... И как-то в один из таких отчаянных моментов, когда все уже казалось потерянным, из темноты вышел гигант в широком пальто, взял меня за шиворот и спросил:

— Мальчик, в цирк хочешь? Вот тебе десять копеек. Пойди в аптеку, купи бутылку Боржома и принеси его ко мне на конюшню. Спросишь чемпиона Украины Стыцуру. Понял? Обманешь, — поймаю и сверну шею...

Так я познакомился с моим будущим учителем греко-римской борьбы.



Борьба начиналась во второй половине программы, в одиннадцатом часу вечера. Оркестр играл марш «Вступление французов в Москву в 1812 году», а затем на арену выходил во фраке с бесчисленными орденами темного происхождения арбитр Алеев. Пройдя через всю арену он останавливался, величественно снимал цилиндр, давал свисток, которому мог позавидовать любой городовой, и густым басом командовал:

— Парад, аллэ!

Что могло сравниться по красоте с этой минутой?! Под звуки марша на арену выходили наши кумиры, — люди со сказочными и уродливыми бицепсами, сломанными ушами, низколобые, угрюмые тяжеловесы. Худых и красиво сложенных борцов я почти не помню. Они были в разноцветных трико, в медалях, почетных поясах, лентах. И пока борцы проходили вокруг арены под звуки

марша, ступая тяжело, как медведи, — цирк гремел от рукоплесканий. Знаменитого столичного арбитра «дядю Ваню» мы знали только понаслышке, но, верно, Алеев во многом ему подражал, певуче представляя своих борцов:

— Мэжду... народный чемпионат греко-римской борьбы с участием лучших мировых сил... на звание чемпиона мира и чемпиона России... (тут делалась значительная пауза, — вероятно для того, чтобы весь мир и вся Россия могли услышать о том, что судьба чемпионата решится именно в Феодосии, а не в каком-нибудь ином городе)... Первый приз — тысяча рублей и золотая медаль от цирка Вяльшина... Борьба ведется по международному кодексу, с запрещением незаконных приемов и зажимов... Дитя волжских степей, чемпион Поволжья — Рыбаков!

Рыбаков поднимал руку в жесте, которому мог позавидовать любой римский гладиатор и выходил на арену с таким видом, будто сейчас, сию минуту, на него бросятся все борцы вместе... Когда стихали аплодисменты, арбитр продолжал представлять своих питомцев:

— Чемпион черноморского флота, пропившийся моряк Посунько...

С галерки раздавался неистовый свист и какой-то подгулявший мастеровой кричал:

— Посунько, засунь-ка!

— Паапрашу соблюдать осторожность: восточный человек, чемпион Грузии и Азербайджана Шота Чалидзе!

Шота выскакивал вперед, как горный ягуар и, утрируя свой акцент, кричал:

— Хачу бароться! Арбитр, давай минэ бароться Абдулаева!

— Татарин Абдулаев сегодня занят: он торгует виноградом на волнорезе...

Шота с негодованием оборачивался в сторону довольной и развеселившейся галерки, грозил кому-то кулаком и, чтобы доказать свою свирепость, все кричал, что он хочет Абдулаева... И так они выходили один за другим, вызывая рукоплескания, свистки и прибаутки, и в самом конце представляли десятипудового чемпиона Украины Стыцуру, — человека с маленькими свиными глазками и короткой, апоплексической шеей. Казалось, голова его начинается прямо на плечах и Стыцура уверял, что это преимущество, — ему нельзя давать «макарон», т. е. наотмашь бить по шее, когда он делает на четвереньках стойку. Ничего человеческого в его облике не осталось. Была громадная туша, пуды мяса и мускул, и было непонятно, откуда у этого толстяка столько легкости и поворотливости? Как и все цирковые борцы, он был порядочным фигляром и когда его клали на обе лопатки, — гонялся по арене за своим противником со страшной руганью, грозя, что убьет, разбрасывая в разные стороны шесть шталмейстеров, которые делали вид, что хотят схватить его, но успокаивался мгновенно по свистку Алеева. А на конюшне, после спектакля, вытирая свое громадное, вспотевшее тело полотенцем, он спокойно говорил победителю, которого за минуту до этого хотел «убить»:

— Сережка, гроши есть? Пойдем в Приморский ресторан пиво пить... Пойдем, а? Ты же мне, сволочь, ухи наломал!

Но это было уже в самом конце вечера, а сейчас на арене заканчивался парад, и борцы снова проходили под звуки марша. На опустевшей арене оставались только те, кому предстояло бороться, и Алеев объявлял:

— Двадцатиминутная борьба на премию в пятьдесят рублей, предложенную местным любителем-меценатом. Спасибо, данке, мерси... Первая пара: борец Катыр-Гулям против чемпиона Прибалтики Петерсона... Вторая пара: бывший ломовой извозчик Колосов, против Черной Маски... Третья пара: чемпион Украины Стыцура против знаменитого силача Збышко-Цыганевича... Первая пара, — на середину! Прошу соблюдать абсолютную тишину, не вмешиваться в борьбу и ничего не бросать на арену. Желая избежать обвинений в пристрастности, папрашу почтеннейшую публику назначить от себя второго арбитра...

Десятки голосов начинали кричать:

— Барсова просим... Барсов, иди!

Барсов был портовый дрогаль, силач и пьяница, великий любитель и знаток греко-римской борьбы. По традиции, он ломался, пока настойчивый крик не превращался в рев, и только после этого спускался вниз на арену, пожимал руку Алееву и важно расправлял унтер-офицерские, пышные усы. Во время революции Барсов сделал блестящую карьеру, — стал вдруг комендантом города, но продолжал ходить в цирк и быть арбитром. Только в зените своей политической славы, выходя на арену, он отстегивал офицерскую шашку,

снимал с пояса две гранаты и требовал, чтобы ему дали столик и стул: коменданту полагался почет.



Однажды, когда мы угодливо вертелись в уборной вокруг борцов, ожидавших выхода, Стыцура вдруг спросил:

— Хлопцы, а бороться вы умеете?

Конечно, мы боролись между собой в большую перемену, на песке, но это была убогая, любительская борьба, грех юных лет, в котором стыдно было признаться такому человеку, как Стыцура. Гигант подумал немного и сказал:

— Хлопцы, через три недели мой бенефис... Хорошо, а что я покажу? Ну, штанги. Сгибание подков голыми руками и разрыв веревок простым напряжением мускулов... Скажем, еще автомобиль через меня переедет с шестью почтеннейшими зрителями... А дальше? А дальше я вас, стервецов, покажу: школа юных учеников Стыцуры... Годится?

Мы молчали, ослепленные неожиданным счастьем. Но кто-то из стоявших поблизости борцов едва не погубил нашу карьеру:

— И охота тебе возиться с этими..? В них и тела нету, и бороться не умеют. Помидорами закидают...

Но упрямый Стыцура сказал, что он научит нас бороться в три дня, и что на афише это будет выглядеть роскошно... На следующий день, после гимназии, мы явились прямо в цирк на первый урок греко-римской борьбы.

Была зима, дул свирепый норд-ост. Парусиновая крыша хлопала, все здание сотрясалось и внутри гулял ветер. Стыцура приказал нам раздеться, — мы остались в одних летних купальных трусиках. Мы стояли на убогом ковре, дрожа от холода, со стыдом поглядывая на свою гусиную кожу. Стыцура поманил меня пальцем и сказал:

— Ну, ты, подходи... Иди медленно, с фасоном. Голову нагни. Пожал руку, разошлись, быстро вертайся назад и теперь ты готов...

Тяжелая лапа Стыцуры упала на шею, пригнув меня к земле. Он сделал какое-то быстрое движение, тело мое мелькнуло в воздухе и через секунду я оказался на ковре, оглушенный и сконфуженный.

— На середину! — командовал Стыцура.

Я вышел на середину, он подержал меня одну секунду за руки, зажал одну, сделал быстрый поворот, и я снова полетел куда-то в пространство, через его голову, в сторону лож у барьера.

— Це будет прием тур-де-бра, — объяснил чемпион.

И так он калечил нас несколько дней подряд, но что за счастливые это были дни! Мы забросили ученье, начали «бартыжать», пропуская гимназические уроки и целыми днями боролись между собой, пробовали мускулы, начали ходить вразвалку, как заправские профессионалы. Дома я вдруг подходил к напуганной и ничего не понимавшей матери, по бычьи опускал голову, рычал, пробовал на ней новый прием, и затем торжественно объявлял:

— Чемпион Феодосии и окрестностей Седых поборол своего противника на двенадцатой минуте, приемом тур-де-тет!

И мать в ужасе садилась в кресло, не понимая, что стало с ее тихим мальчиком, который теперь говорил о каких-то двойных нельсонах, давал «макароны» четырехлетней племяннице Ганночке, оглашавшей дом громкими воплями и требовал, чтобы кухарка, приготовившая на обед котлеты, убиралась «на конюшню».



Все это кончилось неожиданным и постыдным образом.

Накануне бенефиса Стыцуры, когда во всем городе уже висели афиши, извещавшие о предстоящем грандиозном событии и о борьбе учеников чемпиона Украины, мы явились в цирк на последнюю репетицию.

Цирк был пустой. До вечернего представления оставалось еще несколько часов, и артисты разошлись отдыхать. Откуда-то издалека доносился истошный крик дрессированного тюленя, который требовал кормежки. Пахло сырыми опилками, конским навозом, всеми острыми запахами цирка... Мы репетировали выход: шли гуськом, обходили всю арену и затем выстраивались полукругом посередине ковра, скрестив на груди руки и пыжась, чтобы были видны несуществующие мускулы. И в тот момент произошло нечто ужасное, непоправимое: в дверях цирка показался отец.

Кто-то предупредил его на Фонтане о предстоящем позоре. Сын журналиста, сын почтенного человека, бу-

дет бороться в цирке в бенефис Стыцуры? Отец не поверил, но для очистки совести решил зайти в цирк.

Он стоял и молчал и я молил Бога, чтобы сейчас, сию минуту, крыша цирка обрушилась на нас, только чтобы все скорее кончилось. Отец внимательно поглядел и, наконец, тихо и просто сказал:

— Сынок, пойдем домой. Одевайся.

Я оделся, он взял меня за руку и вывел из цирка. Я не помню, светило ли в этот день солнце. Но в душе у меня было темно и тоскливо. Мне казалось, что я не переживу этого позора, что жизнь моя кончилась, что никогда, никогда из меня не выйдет борца. И это было так больно и так горько, что я шел по улице как слепой, и мои соленые слезы катились по лицу и падали на серую, гимназическую курточку.

БАРТЫЖНИКИ

НА завтрак мне полагалось семь копеек, — за эти деньги буфетчик отпускал котлету, бублик и стакан чаю. Но если ограничиться одним бубликом и чаем, на оставшиеся деньги можно было купить порядочный кусок халвы. В большую перемену, когда я только приступил к завтраку, ко мне подошел Коля Кокинаки.

Коля посмотрел на халву своими темными, оливковыми глазами, проглотил слюну и спросил:

— Я тебя халвой гасцал?

— Угощал...

— Давай откусить!

Этика требовала, чтобы я дал откусить, но поглядев на Колькину пасть, я слегка отодвинулся в сторону. Оливковые глаза сузились, Колька провел языком по высохшим губам и сделал шаг вперед. Нужно было действовать быстро, — либо скороговоркой сказать: «грек-пиндос на паре колес» и затем вступить в драку, либо немедленно идти на компромисс. По некоторым соображениям, я выбрал последнее решение:

— Стоп травить! — сказал я миролюбиво. — Бери половину.

Кокинаки пренебрежительно взял кусок халвы, отправил его в рот и затем, уже совсем другим тоном, спросил:

— Андрюшка, пойдем завтра бартыжать?

Не знаю, откуда пошло это слово, — был ли это наш, крымский жаргон, или пришло оно из других мест России, но «бартыжать» означало — уйти тихонько из гимназии в порт, ловить бычков или забраться в горы, где дозревал летом темно-красный, сочный и душистый кизил, и где на камнях, на солнцепеке, грелись ужи и проворные, серые ящерицы.

Мы сговорились на кизильнике, потому что в порту иногда прогуливался надзиратель Бабай, вылавливавший в неурочное время бартыжников, и вся затея могла кончиться воскресным заключением в карцер. На следующее утро, не доходя до ворот гимназии, мы свернули на Военную улицу, прошли мимо казарм, поднялись в горку к татарской слободке, и здесь купили хлеба, око помидор и жирную тарань. О фруктах мы не заботились, — по дороге было много баштанов и садов, которые днем не особенно охранялись. Впрочем, во время такой экспедиции, Колька уже получил однажды от татар-садоводов заряд крупной соли из дробовика, и потом дней десять не мог сидеть на парте. Заряд попал в самое неудобное место.

За слободкой пошли сады. Низкорослые деревья протягивали к нам через заборы свои ветви, ломившиеся от тяжести фруктов. Мы набрали полную фуражку белых черешен и два десятка полузеленых абри-

косов, — спелые абрикосы с нашей точки зрения никуда не годились и не имели вкуса. Потом и сады кончились, начался подъем в гору, жесткая трава, серый колючий кустарник, камень.

Роса давно уже высохла, земля накалилась, необыкновенную тишину нарушало только пение цикад в кустах. Мы присели на камни и начали смотреть вниз, на древний генуэзский город, который тогда казался нам самым красивым и удивительным городом в мире. Под нами белели греческие колонны музея Митридат, а от него галопом спускались к синему морю дома, тонувшие в зелени, — узкие кривые улочки, колоннады, фонтаны под тополями и полуразвалившиеся башни, — город наш строился тысячелетия, через него вечно проходили завоеватели, — татары, турки, греки-мореплаватели, искусные строители-генуэзцы, и последними пришли русские. И каждый что-то оставил этому городу, — так создалось необыкновенное смешение стилей, народов, наречий.

Может быть, мальчики, сидевшие на камне, и не очень думали в эту минуту о древней Кафе, — эти мысли пришли много позже, когда городок с генуэзскими башнями стал сниться по ночам и перешел в область воспоминаний. Нас интересовал больше пароход, выходивший в это время из порта. Куда он пойдет, на Одессу, или на Новороссийск? Потом Кокинаки спросил, могу ли я доплыть от городских купален до волнореза, и похвастался, что он может. И когда я выразил сомнение, Колька сплюнул, поднял руку и торжественно поклялся:

— Накажи тебя Бог!

В общем, может быть, он и мог бы доплыть. Летом, если не было ветра, море спокойное и какое-то разноцветное. Только у самого пляжа оно пенилось белыми гребнями прибоя, а дальше становилось изумрудное, потом вдруг его прорезывала темно-синяя широкая полоса, и уж совсем на горизонте, там, где небо сливалось с морем, все принимало бледную, молочную окраску.

— Смотри прямо, — сказал я. — Вон туда... Керчь увидишь!

Колька долго смотрел и потом разочарованно отвернулся:

— Нет, не увидишь. Сегодня за Дальними Камышами туман стоит. Нужно совсем ясную погоду...

По камню пробежала ящерица. Колька ловко накрыл ее рукой. Ящерица на мгновенье замерла, взглянула на нас удивленными, изумрудными глазами, слегка рванулась вперед и исчезла в трещине. В руках у Кокинаки остался только ее отвалившийся хвост.

— Ничего, к концу лета у нее новый хвост вырастет, — сказал мой товарищ.

Отдохнув, мы возобновили подъем. Деревьев больше не было, — здесь рос только сухой, колючий кустарник, да начал попадаться кизил, который мы в сыром виде презирали, — уж очень он был терпкий. Кизил сначала чистили при помощи специальной машинки, вынимали косточки, а потом варили варенье во дворе, в больших медных тазах, и мальчикам полагалась розовая пенка. Замечательное это было угощение, — теплая, пахучая пенка от кизилового или клубничного варенья, намазанная на ломоть черного хлеба! Варенье в доме готовили пудами, все лето, — до сих пор не могу по-

нять, как его за зиму умудрялись съесть? Начинали в мае с белой черешни и вишни, потом поспевала клубника и земляника. В августе шло великое истребление черных, сладких слив, из которых варили повидло, а поздней осенью наступал черед терпкой айвы и румяных райских яблок, которые сначала развешивали пачками на дворе, и они дозревали на ленивом осеннем солнце.

Впрочем, это лирическое отступление к моему рассказу не имеет прямого отношения. Мысль о варенье навел на меня вид кизиловых кустов и старик-татарин, которого мы тогда встретили. Он набрал две корзины кизила и легко, по молодому ступая в своих кожаных постолах, шел обратно в город. Татарин на минуту остановился, вытер со лба пот и спросил:

— Куда идешь? В Коктебель идешь?

Узнав, что мы просто гуляем, татарин улыбнулся, показал крепкие зубы и сказал:

— Гулять — хорошо. Иди наверх, кизил кушай. Здесь не кушай, наверху кушай. Самый лучший — наверху, как в Кизилташе... Колодец знаешь? Самый лучший вода, такой вода — Айвазовский не имел. Наверху колодец!

Он кивнул головой, взялся за свои корзины и двинулся под гору. А мы снова возобновили подъем, — солнце теперь палило немилосердно, перед глазами плыли круги, лица наши были в огне и мучительно хотелось поскорей добраться до колодца и напиться ледяной воды. Было уже часов одиннадцать, всего час до большой перемены.

— А ребята сейчас парятся на уроке латинского, — мечтательно сказал Колька. — Хайван ходит между

партами и переводит: «Галлия разделена на три части, из которых одну населяют Белги, вторую Аквитанцы, а третью, которые на их собственном языке...».

И вдруг, переменив голос и сделав сердитый жест рукой, Колька сказал, имитируя учителя:

— Ну, ты, — переводи дальше... «а третью, которые на их собственном языке именуются Кельтами». Ну? Опять не выучил? Садись, дерево на дерево!

Хайван учился когда-то в Бурсе и жалел, что телесные наказания в средних учебных заведениях отменены, — на старости лет рассказы о том, как пороли в Бурсе сделались его излюбленной темой. По правде говоря, он был совершенно искренне убежден, что преодолеть премудрость латинского языка без порки невозможно. И при всем этом, — мы поняли только впоследствии, — был он самым добрым и порядочным человеком, — взяток не брал, спины ни перед кем не гнул, и когда меня выгнали из гимназии за плохое поведение, оказался единственным, который поставил мне хорошую и не вполне заслуженную отметку.

Чтобы облегчить подъем, мы начали петь. Голосов у нас не было, мы фальшивили, но все искусство заключалось в том, чтобы петь тягуче и заунывно, как пели эту песнь на татарской слободке.

В Крыму жила
В горы била
С Ахметом познакомилась я.
Ахмет был кримский проводник
Смуглый, ростом не велик.

Мы делали длинную паузу и затем, с бешеным азартом, выкрикивали:

Аднажды дном,
Аднажды дном,
Пришел Ахмет, сказал:
— Пайдом!

Дальше говорилось о том, как они «три года шли», попали в дымное ущелье и снова в песню врывался жалостливый, заунывный и тоскующий голос, начинавший молить:

Ой, Ахмет, душа ты мой
Проводи меня домой!..

Похождения Ахмета на этом месте оборвались, так как мы подошли к густой заросли кустов и услышали журчание воды, стекавшей вниз по камням. Здесь и был колодец о котором говорил татарин. Собственно, никакого колодца не существовало, а был горный источник, и яма, обложенная камнями. Яма до краев наполнялась ледяной, прозрачной водой, а излишки стекали вниз по ложбинке. Мы легли на животы, подобрались к самому краю, и громко, с наслаждением, начали лакать воду. Пили мы долго, пока от студеной воды не заныли зубы, и под конец начали освежать лицо и голову. В этот момент за нами раздался негромкий, насмешливый голос:

— Вы что здесь, байстрюки, делаете?

Из заросли вышел рослый, рыжеватый парень в парусиновых штанах и синей, выцветшей рубахе. Глаза у парня были веселые и наглые, на роже — следы оспы.

Мы обмерли, — это был Сенька Бараданчик, бежавший на прошлой неделе из городской тюрьмы. Сенька минуту помолчал, явно наслаждаясь произведенным эффектом, а затем повторил свой вопрос:

— Вы что здесь, байстрюки, делаете?

— Мы бартыжаем, Сенька.

— Ага, вроде как: четыре сбоку, и ваших нет... Коллеги-гимназисты, вы — курящие?

Пришлось со стыдом сознаться, что мы не курим и папирос не имеем. Сенька презрительно на нас посмотрел и уже более раздраженным голосом сказал:

— Ну, показывайте, что вам мамаша дала пошамать. Есть тут у меня один корешок с Карантина. Обещался принести папирос и шамовки, да не пришел. Выкладывайте, дангалаки.

Мы выложили тарань, помидоры, хлеб и абрикосы. Сенька поступил благородно: с треском разорвал тарань пополам, и одну половину отдал нам. Потом взял кусок хлеба, помидор и приступил к еде. Насытившись он спросил, что про него говорят в городе? Мы сообщили, что в газете напечатали о его побеге, и что хотя он был арестован по подозрению в убийстве лавочника с Карантина, публика очень довольна: одурачил полицию. Сенька стал серьезен:

— Насчет лавочника, — это, они, напрасно... Вместо того, чтобы меня ловить, — лучше бы они порасспросили людей. А я не лягавый, чтобы имена называть.

— Что же ты будешь делать, Бараданчик? — спро сил Коля. — В Кизильнике долго не спрячешься. Кизил уже почти созрел, через несколько дней сюда сколько народу припрет...

На лице Сеньки опять появилось насмешливое выражение.

— Ну, уж я сховаюсь. Дельце у меня тут еще одно осталось, а потом смотаю удочки, и бонжур-мусью... В Керчь уйду, а оттуда на Кубань, или в Одессу, — мне все дороги открыты! Только вот что, байстрюки, — вы теперь тут не задерживайтесь, я человечка одного поджидаю. Катитесь под горку, на легком катере. И, значит, держите язык за зубами. А то, накажи меня Бог, я вам головы посворачиваю. Чтоб ни одна душа в мире не знала! Поняли?

— Поняли...

— Побожитесь!

— Чтоб мы сдохли, Сеня.

— Ну, ладно... Тихий ход вперед! Пишите, коллеги...

Мы пошли в город не тихим, а довольно быстрым ходом. Впрочем, спускаться было легко, только ноги иногда скользили на траве, да сыпался мелкий камень. Вернулись мы домой взволнованные, усталые. О Бараданчике, конечно, никому не рассказали, хотя соблазн был велик...

В общем, слово мы сдержали и лягавыми не стали.

Если я теперь решил рассказать об этой встрече, то только потому, что самого Сеньки Бараданчика давно нет в живых. Он отличился во время гражданской войны, был взят в плен белыми и расстрелян где-то в Крыму, в девятнадцатом году.

АЛЬБИН ДЕ БОТЭ

НА ЯРКО освещенную открытую эстраду Летнего Сада выбежал, семеня ногами, человек в соломенном канотье, белом пиджаке и клетчатых штанах. Пробежав рысцой вокруг сцены, он снял шляпу, оскалил зубы и сказал дирижеру:

— Маэстро, прошу вас!

Маэстро взмахнул смычком и летний ансамбль братьев Хазунзун заиграл что-то бойкое. Молодой человек, продолжая мелко семенить ногами, запел:

Друзья, признаюсь вам сейчас,
Женщин толстых страстно я люблю!

Оставаться дольше не имело смысла. За лето мы успели изучить весь художественный репертуар молодого человека в канотье, который уже смертельно всем надоел. После него выступала дебелая, совсем немолодая «королева русской песни» в сарафане и в жемчужном кокошнике, а в конце отделения «Четыре Соколовских», значившихся в программе акробатами и эксцентриками.

— Пойдем на мол, или пошатаемся тут, в саду? — спросил Митя.

Мне, конечно, хотелось на мол. Там сейчас гуляли гимназистки и можно было встретить Леку с подругами. Но взглянув на свои ноги я смутился: предстать перед Лекой в таком виде не было никакой возможности. От хождения по аллеям Летнего Сада туфли покрылись слоем серой пыли. Не знаю, как на такие вещи смотрят теперешние шестнадцатилетние донжуаны, но в мое время белизна туфель, безукоризненная складка на брюках и свежий чехол на летней фуражке казались вещами, способными сыграть решающую роль в жизни влюбленного гимназиста.

С видом многострадального Иова я ткнул пальцем в запыленные туфли. Митя понял все, без лишних слов. Мы начали ходить по аллеям Летнего Сада и, скуки ради, бросали репейники, которые мы называли колючками, в косы знакомым гимназисткам.

— Девочки, — говорили мы солидными голосами, — шли домой! Мама, небось, послала в лавочку за спичками и керосином!

Гимназистки негодующе фыркали и, на ходу, с достоинством, отвечали, что плюют на нас с высокой сливы.

В саду постепенно публики становилось все меньше. Художественный ансамбль братьев Хазунзун закончил программу исполнением попурри из русских песен, забрал инструменты и поплелся к выходу. Закрылся киоск с сельтерской водой. С шипением начали гаснуть матовые шары калильных ламп.

С гор потянуло свежим, ночным ветром.

❦

Я проснулся рано. Через деревянные ставни пробивался свет и солнечные зайчики играли на выбеленной известью стене. Минуту я лежал неподвижно, обдумывая свои дела. Накануне мы условились с Митей пойти купаться на Суворовские камни и ловить там крабов и морских коньков, а вечером... Я был еще очень молод и в это лето тайно влюблен в Леку.

К вечернему свиданию следовало тщательно подготовиться. Брюки еще накануне были аккуратно подложены под матрац и сохранили складку, которой мог бы позавидовать принц Уэльский. Христина обещала выгладить свежий китель с блестящими, сверкавшими гимназическими серебряными пуговицами. Оставались туфли. Чистить их полагалось на дворе, но оказалось, что нет специального камня для белой обуви.

В трудную минуту жизни я всегда отправлялся за поддержкой на кухню. Христина стояла у плиты, распаленная и сердитая, и кричала на водовоза Ибрагима, который не доливал ведра до самого верха, — водопровода в нашем доме еще не было, и по вечерам в гостиной по старинке зажигали свечи или лампу «Молнию». Входя в кухню я не удержался, поймал в жменю несколько мух и с размаха бросил их на желтый, липкий лист «Мухомора», а затем с невинным видом спросил, нет ли камня для чистки обуви?

— На вас не напасешься, — огрызнулась Христина. — Пойдите в аптеку до Фельдмана и купите, а у меня нет.

Камень стоил четвертак. Такой непредвиденный расход мог серьезно расшатать мой бюджет. Но Христина неожиданно смягчилась и посоветовала:

— А вы, паныч, мелом их почистите... Мелу у нас сколько хотите. Вот там, на полке, в торбе.

В общем, это была неплохая идея. Мел я высыпал в блюдце, с видом средневекового алхимика развел его водой и начал мазать белой жидкостью по туфлям.

Результат превзошел все мои ожидания.

Через четверть часа выставленные на солнце туфли просохли и засверкали такой девственной белизной, что хотелось зажмурить глаза. Правда, чудодейственный порошок быстро осыпался, но по совету многоопытной Христины я подсыпал в блюдце ложку муки-крупчатки. Теперь белая масса плотно покрывала туфли и радовала глаз художника и артиста. Такой работе мог позавидовать даже грек Гандалаки, чистивший ботинки на тротуаре, напротив Европейской Гостиницы.

Увидев мои туфли, Митя протяжно засвистал и завистливо сказал:

— Шик — блеск, иммер элеганс... Откуда?

Чудодейственный порошок не был еще запатентован, но от лучшего друга я не имел секретов. После того, как и его туфли стали белоснежными, Митя крепко пожал мне руку и сказал:

— Я всегда верил в тебя, дегенерат. Сколько у тебя еще имеется этого драгоценного порошка?

— Вот, в блюдце. И еще в кулечке осталось с полфунта.

— Отлично. Мы вступаем, милостивые государи и милостивые государыни, лекторским тоном сказал

Митя, в период хищнической эксплуатации природных богатств Крыма и буйного экономического расцвета правящих классов. Ты Бокля читал?

Конечно, как всякий уважающий себя гимназист я Бокля «проштудировал». Но в этот момент мне еще не было вполне ясно, какое отношение имеет Бокль к мелу, который быстро высыхал на дне блюдечка.

— Законы спроса и предложения, — строго сказал Митя, — регулируются общим состоянием экономического рынка. В Феодосии сейчас наблюдается съезд обезумевших туристов, усиленно скупающих предметы первой необходимости, — войлочные шляпы, палки для экскурсантов и коробки, оклеенные ракушками. Наш порошок для чистки белой обуви несомненно является предметом первой необходимости для всех франтов, щеголяющих в белой обуви.

— Не наш, а мой порошок, — угрюмо поправил я.

— Ты — изобретатель, — миролюбиво ответил Митя, — а изобретатели, как известно, в капиталистическом обществе умирают с голоду до того момента, пока судьба не сводит их с умным, предприимчивым дельцом, который начинает массовую продукцию предмета и наводняет им рынок. Тебе повезло. Роль умного, предприимчивого дельца я принимаю на себя.

Идеи Бокля в применении к местным условиям начали с этой минуты облекаться в более конкретные формы.

— Что нужно, — продолжал Митя, охваченный порывом священного вдохновения, — для массового производства нашего порошка? Нужно иметь поблизости от фабрики источники сырья. В любом скобяном ма-

газине за 20 копеек мы можем купить 10 фунтов толченого мела. Для начала этого хватит. Христина снабдит нас фунтом муки-крупчатки. Громадное значение имеет внешний вид предмета, выброшенного на рынок. В типографии Цвибака можно в кредит отпечатать белые пакеты небольшого размера. С одной стороны — звучное название порошка. На обороте, — американский рецепт чистки белой обуви и цена чудодейственного порошка: 25 копеек. У тебя приготовлено звучное название?

— Нет, — признался я.

— Очевидно, вся тяжесть производства падет на меня, — сказал Митя. — «Белый лебедь»? Нет, не подходит... «Альбатрос»?

И вдруг, меня осенило вдохновение:

— «Альбин», — сказал я. — Звучит по заграничному. Импортированный продукт, почти контрабанда. Можно сделать название еще более эффектным, французским: «Альбин де Ботэ».

Митя внимательно посмотрел и сказал:

— Дегенерат, ты далеко пойдешь. «Альбин де Ботэ», любимый порошок французских королей. Главный склад в аптекарском магазине Фельдмана, на Итальянской улице.

— Во Франции давно нет королей, — запротестовал я. — Вообще, не следует в торговле затрагивать политические вопросы. Наш порошок может покупать и передовая интеллигенция, проникнутая революционными идеями. Короли все испортят.

— При твоих умственных способностях можно легко стать членом Государственной Думы, — сказал Митя.

— К черту королей! «Альбин де Ботэ», — это, по словам Горького, звучит гордо. Идем запасаться сырьем.

Я надел фуражку. Митя оглянулся и, гарцуя на воображаемом коне, скомандовал:

— К церемониальному маршу... С соблюдением двухвзводной дистанции... Первая рота, равнение на середину, шагом марш!

Мы двинулись церемониальным маршем навстречу головокружительному успеху.



Отпечатанные в кредит пакетики «Альбин де Ботэ» лежали на подоконнике в моей комнате, которая ради торжественного случая была названа лабораторией. Оборудование лаборатории пока было довольно примитивное. На подоконнике стояла большая миска, в которой изобретатель и финансовый директор нового предприятия смешивали мел с мукой и, чихая, рассыпали порошок по пакетикам.

Когда первые 50 пакетов были готовы, мы уложили их в коробку и отправились к Бене Фельдману.

Митя вошел в аптеку первый, с независимым видом. За ним, со скромностью, присущей ученому изобретателю, следовал я.

— Здрасьте, мальчики, — сказал Беня, взглянув на нас поверх очков, висевших на кончике его носа... — Что вам надо? Бутылку Боржома, или порцию касторки?

Вместо ответа Митя небрежно бросил на прилавок несколько пакетов. Беня взял один пакетик, вскрыл его с таким видом, словно внутри лежал динамит, растер порошок на ладони и спросил:

— «Альбин де Ботэ». Ну, хорошо. А кто мне поручится, что это не крысиный яд? И что этот порошок не испортит туфли покупателей?

Митя и я гордо вытянули вперед ноги. Наши туфли, покрытые двойным слоем «Альбина», сверкали, как снежная верхушка Монблана в солнечный день.

Как настоящий южанин, Беня ценил хорошо вычищенную обувь. Инспекция вполне его удовлетворила.

— Попробую пустить в ход, — сказал он. — Условия обычные: десять копеек вам, пятнадцать мне.

— Мосье Фельдман, — почтительно запротестовали мы, — побойтесь Бога! Наш товар, наш труд, заграничная упаковка. Вы даете только распределительный аппарат. Входит покупатель, берет пакет «Альбина», и в одну секунду вы хотите заработать 15 копеек!

Но Беня Фельдман тоже изучал политическую экономию и давно понял, что мир делится на эксплуататоров и эксплуатируемых. Он хотел быть эксплуататором.

— Овес нынче дорог? — ехидно спросил Беня. — Хватит с вас гривенника, паршивцы. А нет — станьте на углу, около «Электробиографа» и продавайте сами ваш порошок. Может быть вам улыбнется счастье и у вас купит пакетик инспектор гимназии. Будет очень интересно.

Урезонить эту акулу капитализма не было никакой возможности. В конце концов, мы были не в убытке. Мел в те времена стоил две копейки фунт, а из фунта мы делали два десятка пакетов.

К вечеру мы прогуливались по Итальянской улице с видом заговорщиков и каждый раз останавливались у витрины аптекарского магазина. В центре витрины

стоял освещенный изнутри сосуд с зеленой жидкостью, который полагался в окне каждого уважающего себя аптекаря. А вокруг, в артистическом беспорядке, Беня разбросал пакеты «Альбин де Ботэ»... Через два дня провизор поманил нас пальцем и сказал, чтобы мы принесли еще сотню пакетов и выдал нам авансом 3 рубля. Вечером мы кутили в татарском погребке, ели жирную тарань и горячие, румяные чебуреки, запивая все кислым белым вином кн. Голицына. В тот же вечер произошло другое, немаловажное событие: во время прогулки на волнорезе Лека получила букет чайных роз.

Началась удивительная полоса нашей жизни. Днем мы работали в лаборатории, на подоконнике, рассыпая порошок в пакетики. Вечером гуляли в Летнем Саду или на волнорезе. Мы больше не бросали колючек, — это было недостойно новых Вандербильтов. Лека прятала лицо в чайные розы, мерцала глазами и загадочно молчала. Лицо ее в лунные ночи было прекрасно.



Кончилось все это довольно неожиданным образом, — революцией 1917 года.

Сначала в нашем городе исчезли туристы. Потом Христина заявила, что муки-крупчатки больше нет, и она не позволит тратить запасы на такие пустяки, как «Альбин де Ботэ». И, самое главное, начали исчезать не только белые туфли, но и ботинки вообще.

Охваченные сумасшедшей жаждой наживы мы с Митей затеяли производство дамской губной помады, которая была названа «Сильва ты меня не любишь». Расчет был построен на том, что даже в революцию

женщины должны мазать губы. Так как крупные парижские фирмы давно украли у меня секрет изготовления «Сильвы», я теперь могу опубликовать этот несложный рецепт.

Важную роль во всем производстве играл мясник Нафтули из Пассажа, у которого мы из-под полы покупали бараний жир. Жир растапливали на плите, под вопли и протесты Христины, а затем смешивали с охрой. Полученную красную и жирную массу разливали в бумажные трубочки. Об остальном заботился Беня Фельдман, начавший относиться к нам с некоторым уважением. «Сильва» немного отдавала запахом бараньего курдюка, но во время революции на такие пустяки никто не обращал внимания.

Массовое производство губной помады было сорвано Христиной, которая проникла в лабораторию и похитила запасы бараньего жира, ставшего к этому времени большой редкостью и гастрономическим деликатессом. Жир пошел на приготовление котлет и жареного картофеля. Мы уничтожали котлеты точно так, как Кронос пожирал собственных детей.

С этого момента все пошло прахом. Период буйного капиталистического расцвета бесславно кончился. У Нафтули не было бараньего жира; аптеку Бени Фельдмана реквизировали, да и нам самим стало небезопасно показываться на улицах.

Конечно, во всем виновата революция. Без исторических событий я и сейчас фабриковал бы «Альбин де Ботэ», но уже во всероссийском масштабе. К сожалению, события иногда оказываются сильнее людей.

ЧЕБУРЕКИ

РАЗГОВОР по телефону вышел долгий и тягучий, — моя собеседница хотела узнать все парижские новости. Потом мы говорили о погоде и о последнем концерте Кусевицкого, — дама с Кусевицким не была знакома, но почему-то, как это делают заядлые музыканты, фамильярно называла его «Куси-Куси». И, под конец, когда уж решительно все темы были исчерпаны, спросила:

— А что вы делаете сегодня вечером?

— Иду есть чебуреки.

Дама выдержала паузу, — ей, видимо, не хотелось признаваться в своем невежестве. Все же, она поставила наводящий вопрос:

— А с чем это едят, чебуреки?

Я мог бы объяснить, что чебуреки ни с чем есть нельзя, ибо присутствие всякой иной еды на столе может только испортить удовольствие, но это было бесполезно: дама на режиме, питается лимонным соком, разными травками, и ей чужда гастрономическая поэзия. Вместо этого я коротко попрощался, повесил трубку и,

закрыв глаза, начал вспоминать, как ели когда-то чебуреки в Крыму.

Приезжие москвичи ели чебуреки по ночам, после симфонического концерта, и обязательно шли для этого на поплавок Паша-Тепэ. Море фосфорилось, любовные парочки бродили по Мостику Вздохов, в темноте на Екатерининском проспекте ровно шумели тополя, и москвичи чувствовали, что они в Крыму и наслаждаются жизнью. Настоящие, коренные крымчаки Паша-Тепэ не долюбливали и знали, что лучшие чебуреки можно получить в погребке у татарина, на Гюбенетовской улице. Мы приходили в этот погребок с детства, еще будучи гимназистами. Татарин стоял в углу, у плиты, раскатывал тесто, выделывал на наших глазах чебуреки. Минут через пять вскипало масло, чебуреки с шипеньем ныряли в котелок и в одну минуту были готовы. Татарин приносил полпорции, шесть штук, ставил на стол и говорил сурово:

— Давай пятнадцать копеек!

Это было дорого, в особенности для наших тощих мальчишеских карманов. В порту громадный чебурек стоил всего две копейки, но мальчики уверяли, что их делали из собачьего мяса. Впрочем, — портовые чебуреки я тоже очень любил. Но в погребке они были особенные, пухлые, подрумяненные, с огня. Настоящие знатоки ели их прямо руками, — нужно было осторожно поднести чебурек ко рту, надкусить один конец, и тогда в рот лился горячий бараний бульон с петрушкой. Профаны из Паша-Тепэ деликатно резали чебурек ножом, прокалывали его вилкой, и теряли лучшее, — бульон оставался у них на тарелке... Покончив с чебу-

реками, выпивали чашечку сладкого турецкого кофе с каймаком, — половина кофе, половина гущи, потом стакан ледяной воды и шли гулять.

Развлечений было сколько угодно. На Гюбенетовской, под акациями, мальчики играли в ашики, — тот кто не держал в руках мешочка с ашиками никогда не поймет священного волнения, которое мы испытывали... И слова были особенные, татарские, смысла которых мы не понимали, но которые тщательно произносились перед решительным ударом, как какое-то заклинание:

— Дип наш ортанаш, калдушмерим наш...

Игрок закрывал один глаз, прицеливался, вращая между двумя пальцами заведомый, непобедимый ашик со свинчаткой и, выпуская его по кону, кричал:

— ...Соничка алчик тал!

Что за Соничка, — откуда она взялась — никто не знал, но так было принято, и без этого нельзя было обойтись.

За акациями были рельсы, железнодорожное полотно, потом амбары, в которые ссыпали пшеницу, и какие-то старухи с Карантинной слободки, метелочками подметали рассыпанное по дороге зерно и собирали его в торбы, — это был бесплатный корм для птицы. Одна старуха была своего рода знаменитостью. Должно быть, в незапамятные времена, с ней случился грех, но что именно произошло, никто уж не помнил. Осталась лишь фраза, с которой гимназисты неизменно к ней обращались:

— Бабка, сало украла?

Старуха бросала метелочку, выпрямлялась и отвечала:

— ...и мясо!

После чего она совершенно виртуозно начинала нас ругать, и ругала так сочно и крепко, что дрогали, ехавшие в порт, на мгновенье задерживали лошадей, чтобы послушать, одобрительно кивали головами и говорили:

— Ну и бабка... Паразит!

Поговорив с бабкой, можно было отправиться на пристань ловить бычков, но для этого нужно было предварительно запастись рачками.

Рачками торговал хозяин «Ласточки» Павло. Он сидел целый день на солнцепеке, в своем баркасе и ждал рыболовов. Когда приходил покупатель, Павло вытаскивал из воды корзину, накрытую куском парусины, запускал в нее свою заскорузлую руку и вытаскивал пригоршню подпрыгивавших, колючих рачков.

Во всем мире их зовут креветками, но у нас почему-то это были рачки. Пригоршня стоила пятак. Павло презрительно смотрел на наши удочки с самодельными грузилами и говорил:

— Мерикопа поймаешь!

Поймать мерикопа считалось верхом позора, — это значило зацепить крючком за камень, и тогда погибало все, — и грузило, и крючки, и шпагат... Если не было охоты ловить бычков, рекомендовалось взять на час парусную лодку и выехать за волнорез, в сторону Ильи Пророка. Лодки стояли подряд, пришвартованные к набережной: «Ливадия» грека Кумиано, «Румелия» Ксе-

нофонта, или наша любимая «Светлана» Вани Каторжанина.

Это не пустые воспоминания, — чебуреки очень трудно понять тому, кто не играл в ашики, кто не любил хурму и караимскую халву, и кто не считает бузу лучшим напитком в мире. Как могло случиться, что мне пришлось отведать чебуреки после тридцатилетнего перерыва не в погребе на Гюбенетовской, и не на Фонтанчике, против Генуэзской башни, а в Нью Иорке, в клубе русских маляров? Странный город Нью Иорк, и все может здесь случиться... Я знал, что встречу в клубе земляка Митю Апостолиди, знаменитого пловца и своего рода феодосийскую достопримечательность, — вроде памятника Айвазовскому. Весь город приходил к Яхт Клубу смотреть, как прыгает с вышки Митя, и как он с разгона делает «ласточку»... Он был маленький, худой, похож на грека... И пока я снимал пальто и думал о нем, кто-то сзади ударил меня по спине и сказал:

— Я же знал, что ты придешь... паразит!

За тридцать лет люди слегка меняются; я уже не был мальчишкой, который гонял в большую перемену по гимназическому двору, и теперь призы за плаванье берет уже не Митя, а его дочь Машенька... Но чебуреки были те же, и когда я отложил в сторону вилку и нож, взял чебурек двумя руками, слегка запрокинул и выпил бульон, Митя прослезился, налил две рюмки и сказал:

— Выпьем, Андрюша, за черноморский флот!

Мы выпили, и потом проэкзаменовали друг друга. Да, пирожные у турка были самые лучшие в городе и стоили всего три копейки штука, и Митя вспомнил важную подробность, — как однажды Сонька Беззубая с

Итальянской улицы съела на пари десять трубочек с кремом. Потом мы вспомнили, что барабульку жарят сразу по пять штук, в муке, так, чтобы хвосты были слипшиеся, все вместе. Поговорили о хамсе, — соленой, жареной, тушеной и вареной. Помянули добрым словом гимназического надзирателя Бабая, который записывал нас в кондуит за поздние прогулки на волнорезе, городского сумасшедшего Хороза и многих других добрых людей.

Под конец, когда стало совсем грустно, я спросил:

— Митя, а что сейчас делает Мока Джумук?

— Сидит в баркасе, задрал штаны и держит ноги в воде, — ответил без колебания Митя.

И я согласился, что Мока Джумук ничего другого делать не может, — он всю жизнь либо ходил по Итальянской, в своей тужурке вечного студента, либо сидел в баркасе, задрав штаны, ноги в воде... Впрочем, все это, вероятно, не интересно людям, которые не знают, «с чем» едят чебуреки. Мы ели их с воспоминаниями.

НАПОЛЕОНОВСКИЙ КОНЬЯК

О НАПОЛЕОНЕ я узнал много позже, когда подрос и начал читать об Отечественной войне. А впервые я услышал его имя в связи с коньяком. Кто-то привез отцу в подарок из Франции бутылку коньяку, — такого старого, что вся она была покрыта пылью и паутинкой. Я удивлялся, как отец мог взять в руки такую гадость и грязь? Но, очевидно, ничего противного в этом не было. Наоборот, отец явно любовался бутылкой, коричневой сургучной печатью на горлышке и наклейкой с надписью на непонятном мне языке.

С детства я уже отличался порядочной назойливостью и немедленно начал приставать:

— Папа, а папа... Покажи!

— Это не для детей, — строго сказал отец. — Лучше пойди и займись переводными картинками.

Так всегда кончались мои попытки сближения со взрослыми: они отсылали меня смотреть картинки или готовить уроки. Но некоторая торжественная почтительность в действиях отца не давала мне покоя.

— Папа, а папа... А что это такое?

— Детка, не приставай, — ответил отец. — Это — наполеоновский коньяк. Ему больше ста лет.

Сто лет, — это почти столько, сколько самому папе, а может быть и больше. Но что такое — коньяк? Так как о спиртных напитках я имел в эти годы смутное представление, содержимое бутылки представлялось мне чем-то вроде крепкого и, вероятно, очень сладкого чая.

— Когда мы будем пить наполеонский коньяк, папа? — спросил я в тайной надежде, что бутылка тут же будет откупорена и мне предложат большую чашку, только как взрослым, без молока!

Отец подумал и сказал:

— Это, мальчик, полагается пить в очень торжественных случаях. Вроде шампанского... Ну, скажем, когда ты поступишь в гимназию. Хорошо?

Я начал подсчитывать по пальцам. Получалось что-то очень много и время от времени я сбивался, начинал сначала. Отчаявшись, я пошел на кухню к Христе, возившейся у плиты, и спросил:

— Христя, через сколько лет я поступлю в гимназию?

Христя вытерла подолом фартука лицо, подозрительно на меня посмотрела и, в свою очередь, спросила:

— А тебе зачем это знать? Много будешь знать, скоро состаришься.

Я как раз мечтал поскорей состариться и настаивал:

— Это очень важно, Христя. Папа обещал, что в этот день мы будем пить наполеоновский коньяк.

Христя фыркнула и сказала:

— Когда рак свистнет, а щука запоет.

Повторяю, я был очень маленький и иронии не понял. Но загадочная фраза Христи вызвала в моем сознании некоторое изумление: неужели раки свистят, а щуки поют? Вот бы добыть такого рака! Петька Новиков чудно свистит, — ему уже пятнадцать лет и это не удивительно. Поющая щука меня не заинтересовала, — в те годы к пению и к певицам я был еще совершенно равнодушен. Но какое отношение рак и щука имеют к моему поступлению в гимназию? И кто такой этот Наполеон, приславший отцу в подарок бутылку своего коньяку?

Чтобы сбить спесь с Христи, которая очень уж зазналась со своим свистящим раком, я сказал, выходя из кухни:

— Когда я буду большой, я тоже засвистю.



Вот я иду по улице и мне кажется, что в мире нет великолепнее и счастливее человека: на моей голове уже новенькая гимназическая фуражка, вся какая-то твердая, оттопыренная, с блестящим козырьком, белым кантом и серебряным гербом: два гусиных пера, а посреди буквы «Ф. Г.» — Феодосийская Гимназия. Завтра будет готова форма, мне купят кожаный пояс с бляхой и я навсегда расстанусь с ненавистными короткими штанишками и матросской курточкой.

День по осеннему солнечный, еще теплый, а я уж мечтаю о том, чтобы поскорей начались холода; тогда можно будет надеть серую гимназическую шинель с серебряными пуговицами и хлястиком сзади, шинель до пят, совершенно, как у кавалеристов. Чтобы еще

больше напоминать кавалериста, я начинаю ходить, слегка раскорячив дугой ноги, но это увлечение быстро проходит, так как никто не обращает внимания на мою походку. Зато гимназическая фуражка приводит всех в восхищение. Мне кажется, что все встречные сначала застывают на месте, потом восторженно всплескивают руками и начинают поздравлять папу. При чем здесь папа, если экзамен выдержал, все-таки, я? Фуражка имеет еще одно бесспорное преимущество: никто больше не может гладить меня по стриженой ежиком голове. Я перестал быть ребенком и превратился в гимназиста. Интересно, что скажет Нюся Харитон, когда увидит меня во всем этом великолепии?

Неизвестно, как далеко завела бы меня мания величия, если бы в этот момент мечтания не были прерваны тремя мальчишками из городского училища, с которыми я ловил голубей, обменивался марками и играл в ашики. Они вылетели из-за угла на манер Кузьмы Крючкова, с казачьим гиканьем, и на ходу сбили с меня драгоценную фуражку, скатившуюся на пыльную мостовую и сразу утратившую всю свою девственную свежесть. Можно было за ними погнаться, поймать хотя бы одного и как следует проучить. Но я благоразумно поднял картуз, стер рукавом пыль с околыша и, с трудом сдерживая подступившие слезы, нахлобучил оскверненную фуражку на стриженую голову с нелепо торчавшими по сторонам ушами.

Друзья беспечных юных лет улюлюкали и кричали из-за угла:

— Не задавайся на макаронах! Гимназистом быть, надо чисто ходить!

Отвечать было ниже моего достоинства: я уже знал наизусть гимназический билет, начинавшийся словами: «Дорожа своей честью, ученик не может не дорожить честью своего учебного заведения». Хотя в данном случае явно была затронута и моя личная честь, и престиж учебного заведения, их было трое против одного. Пришлось удовлетвориться тем, что я издали погрозил кулаком и крикнул о старшем брате, который им покажет. У каждого из нас в критические минуты жизни был про запас старший брат. Затем, с независимым видом, словно ничего не произошло, я проследовал домой.

А дома ждали слезы радости, расспросы, подарки и парадный обед, во время которого за здоровье будущего ученого пили шипучий хлебный квас. Только несколько дней спустя я вспомнил обещание отца, — раскупорить наполеоновский коньяк в день моего поступления в гимназию. Но момент был упущен, волнение в доме уже улеглось, и отец сказал:

— Знаешь, теперь не стоит. Подождем другого торжественного случая. Вот будет наша серебряная свадьба... Тогда и откроем.

— Хорошо, только покажи бутылку, — попросил я.

Отец вынул из комода бутылку, завернутую в полотенце, чтобы предохранить коньяк от случайного удара, и бережно его развернул. Внутри, на вате, важно возлежала пыльная бутылка, с приставшей к ней соломинкой и паутинкой, со всеми внешними атрибутами давности и с сургучной нетронутой печатью. Я уже прочел «Войну и мир», бредил Наполеоном и подумал, что это — тот самый коньяк, который, быть может, возили за Императором в его походном поставце. Это

была почти история, первая историческая реликвия, которую я увидел в жизни. Должно быть, нечто вроде этого чувствовал и отец, ибо он вполголоса запел: «Знамена победно шумят, тут выйдет к тебе Император, из гроба твой верный солдат!».

И бутылка с теми же предосторожностями снова была спрятана в комод.



Постепенно этот наполеоновский коньяк превратился в символ будущего, очень важного и счастливого события в нашей жизни. Мы думали о реликвии даже с некоторым суеверием, и временами нам начинало казаться, что коньяк этот, хранившийся так много лет, искушавший несколько поколений, никогда открыт не будет и что на него не поднимется кощунственная рука.

Годы шли, дети подрастали. Околыш моей фуражки давно уже был сломан и, по мнению инспектора гимназии Головотяпа, принял недопустимо легкомысленный, абитуриентский вид. Давно уже моя парта была изрезана женскими именами и пронзенными сердцами, а младшая сестра Бахаревич безжалостно вытеснила кроткую Нюсю... Именно в это время, совпавшее с переходом в шестой класс, я почему-то начал усиленно заботиться о складках на штанах и потребовал, чтобы Христя туго крахмалила мои воротнички и манжеты. В эту весну случилось и другое событие, затмившее собой даже мое увлечение младшей Бахаревич: началась революция.

В нашем глухом провинциальном городке революция произошла вполне идиллически: попросту разору-

жили городовых, а затем стащили с пьедестала чугунную статую Александра III. Было очень весело и приятно, — статую обмотали канатами и потянули вниз. Я тоже тянул канат до того момента, пока из толпы не вышел Головотяп. Инспектор направился ко мне и тихо, но весьма внушительно, посоветовал:

— Сейчас же прекратите это безобразие и идите домой... Тоже, революционер нашелся!

На этом моя революционная карьера закончилась, — других, сколько-нибудь значительных событий, в ней больше не было. Рассказываю я все это, чтобы объяснить, почему мы не могли отпраздновать серебряную свадьбу родителей: было уже не до празднеств. Революция углублялась. В тот день, когда я пришел домой и сообщил, что меня выбрали в Педагогический Совет представителем от учащихся, вместе со сторожем Игнатом, который до сих пор вытирал шваброй бесконечные коридоры гимназии, отец схватился за голову и сказал:

— Боже мой! Начинается...

Все, действительно, только начиналось. Гимназисты стали ходить на митинги и слушали, как городские музыканты-клезмеры играли «Марсельезу» и «Вы жертвою пали». Тогда же, с помощью Игната, выбрали нового директора гимназии. Мы считали его либералом потому, что при старом режиме он никогда не ставил двоек.

В день серебряной свадьбы, к отчаянию матери выяснилось, что даже приличного обеда нельзя приготовить. Лавки давно были закрыты, а на базаре продавали только бычки да камсу... Одним словом, меню в этот день было не такое, чтобы откупорить наполеоновский коньяк. Отец объявил, что это будет сделано

при следующем семейном событии, когда я окончу гимназию.

— Если только до этого ты не станешь директором, — сказал отец, который все видел в мрачном свете.

Нужно было ждать еще два года... Но какие же это были годы! Братья Хазунзун играли уже не «Марсельезу», а «Интернационал», по улицам ходили солдаты, увешанные пулеметными лентами, а комендантом города стал косоглазый матрос Петька Новиков, — тот самый Петька, который так виртуозно свистал в детстве.

Пошли аресты. Когда забрали кладбищенского священника, отца Феодора, бабы на Базарном привозе устроили бунт. Привоз был рядом с кладбищем и торговки считали отца Феодора своим духовником. В полдень сотня разъяренных баб двинулась в город, к Комендантскому управлению, у ворот которого дежурили моряки с пулеметом.

На крики толпы Петька вышел на балкон. Бескозырка его была сдвинута на затылок, у пояса болтался наган, и весь вид свидетельствовал о том, что он твердо решил защищать завоевания революции. Мать коменданта, старуха Новиковша, подбоченилась и завопила из толпы истошным голосом:

— Петька, идол косоглазый! Комендант, мать твою так и сяк... Отпусти батюшку! Отпусти батюшку, или я, туды тебя и сюды, всю морду раскровяню!

Петька стоял на балконе и кусал губы. Это был явный подрыв престижа советской власти. Побелев от злобы, он начал кричать в ответ:

— Мамаша, вас лично попрошу разойтись... Мамаша, разойдитесь!

Не знаю, как происходила революция в Москве и в Петрограде, но в маленьком городе все было по семейному и сцена эта никого не удивила, — комендант революционной власти все же оставался для нас Петькой, а Новиковша никак не походила на Шарлотту Кордэ.

Батюшку отпустили, но в ту же ночь председатель Ревсовета, портовый дрогаль Барзов, приказал арестовать в качестве заложников двадцать буржуев. В числе арестованных оказался и мой отец.

Матросы пришли в дом ночью, предъявили приказ об аресте и произвели обыск, — искали спрятанное оружие. Ничего они не нашли, но в комоде был обнаружен загадочный предмет, завернутый в мохнатое полотенце.

— Бери на исследование, — сказал начальник патруля. — Легче, братцы!

Мы стояли вокруг и молчали. С бесконечными предосторожностями, словно внутри была бомба, коробку открыли и сняли вату. Бутылка засияла во всей своей первобытной красоте.

— Товарищи, — сказал матрос. — Товарищи и братья! Есть случай выпить за успех и процветание революции.

Я всегда считал, что русская буржуазия морально обанкротилась, не оказав революционной черни должного сопротивления. Мы стояли молча, подавленные, парализованные, и никто из нас не сказал, что это — символ, что с этой бутылкой связана история нашей семьи, что грубое прикосновение к ней является кощунством. А матрос с видимым удовольствием прищу-

рил глаз, посмотрел на свет и коротко и осторожно ударил старинной бутылкой по краю мраморного туалетного столика... И горлышко с сургучной печатью отлетело, полстакана драгоценной жидкости пролилось на пол, а остальное забулькало в горле у матроса. Бутылка с отбитым горлышком стала переходить из рук в руки, пока на дне ее ничего не осталось, кроме мелких осколков стекла, упавшего внутрь.

На этом история наполеоновского коньяка кончается. Отца той же ночью Петька Новиков освободил. Выпустил он и остальных буржуев и каким-то образом попавших в их компанию заслуженных деятелей искусства братьев Хазунзун. Их захватили после митинга, вместе с музыкальными инструментами.

Выйдя из ворот тюрьмы Хазунзуны пошептались, стали на улице полукругом и, бодро размахивая смычками, на радостях и из благодарности заиграли «Интернационал».

КАРАДАГ

ПОДЪЕМ на Карадаг начали мы под вечер и шли не торопясь: хотели добраться до могилы святого, похороненного в древние времена на вершине горы, и там встретить восход солнца.

С моря Карадаг кажется суровым, неприступным. Отвесно поднимаются из воды темные, вулканического происхождения скалы, о которые глухо и равномерно разбивается прибой и клочьями белой пены ложится у входа в Разбойничью Пещеру. Но со стороны Коктебеля подъем сравнительно легкий, по горным тропинкам. Над обрывами растет что-то сухое и корявое, куриная слепота да пыльный репейник, медленно умирающий от невыносимого зноя. Но чем выше, тем меньше камней и вулканического пепла «пуццоланы» и больше зелени. На смену известковым плешинам и желтой ковыли идут пастбища, потом кизильник, а дальше начинается лиственный и хвойный лес, до самой вершины.

На закате мы сделали первый привал и устроились под соснами, каким-то чудом выросшими в расщелине скал. Жара уже спала, из леса тянуло предвечерней прохладой, и тени тополей начали непомерно удлиняться.

С Карадага была видна вся лазурная коктебельская бухта, на поверхности которой морские течения и ветер прокладывали темные дорожки. Море из-за этого казалось разноцветным, и только где-то далеко, на горизонте, оно сливалось с небом в одну серо-молочную пелену. Белые домики внизу были совсем игрушечные. В окнах башни Максимилиана Волошина, на самом берегу, медленно догорало солнце.

— Все здесь голое, унылое, выжженное, одни солончаки да лысые горы, — сказал мой спутник. — А как перевалим по ту сторону Карадага, начнется уже южный берег Крыма. Там лежат зеленые отузские виноградники, бесконечные татарские баштаны и фруктовые сады, «роскошная судацкая долина», о которой писал Грибоедов... Вот побываем у могилы святого, а потом спустимся в эту долину и пойдем берегом в Судак, древний Сурож. Есть там скала Кыз Куле, а на ней — развалины генуэзской крепости, с которой связана какая-то легенда о девушке, бросившейся со скалы в воду. Кто она была, эта девушка? Не то татарка, которую бросили по приказу богатого мурзы за неверность, не то русская невольница, привезенная для продажи на салдайский рынок и которая загубила себя от тоски.

Мы молчали, пили холодную воду из фляг, обшитых солдатским сукном, и, должно быть, каждый думал о судьбе девушки, разбившейся насмерть на скалах Кыз Куле. А тем временем, внезапно, совсем неожиданно, наступила южная, теплая ночь. Замерцали огни в Коктебеле, а потом и на вершине Карадага как-то особенно ярко загорелись костры.

— Кто-то нас опередил, — сказал я.

— Это татары раскладывают костры вокруг могилы своего святого. Всю ночь будут молиться, думать о святости, — ответил мой спутник, отлично знавший эту часть Крыма.

И мы снова двинулись в путь по горной тропинке, опираясь на палки с железными наконечниками. Ночью идти было легче, бодрил горный воздух. Над головами низко и испуганно метались, описывая широкие круги, летучие мыши.



Луна встала над морем большая, красная, какая-то театральная. Такую луну позже видел я только под тропиками. Но постепенно начала она уменьшаться и менять цвет, из медной превратилась в желто-золотистую, потом поднялась еще выше, и все вокруг стало белым, каким-то призрачным, а по воде, от луны до самого берега, протянулся дрожащий серебряный мост. Еще громче застрекотали цикады. Сплюшка в лесу начала выводить свое монотонное:

— Сплю... Сплю...

А какая-то другая ночная птица дразнила ее вопросом:

— Ну, и что же?.. Ну, и что же?

Подъем продолжался уже несколько часов и мы начали чувствовать усталость. Стучало в висках, дыхание стало частым и неровным. Но вот послышалось журчание воды, тропинка свернула куда-то вбок, вдоль скал, и вдруг из темноты с хриплым лаем набросились на нас злые, лохматые и хриплые овчарки.

— Кым бар онда? Кто это там? — спросил чабан, пригнавший свою отару к источнику на водопой.

Мы отогнали палками собак и, как требовал обычай, вежливо сказали:

— Акшамас хайрысен, чобарджи! Добрый вечер, господин!

Чабан, вышедший на дорогу, с удивлением на нас оглянулся: одеты мы были, как экскурсанты, а заговорили по-татарски. Значит, были свои люди, крымчаки.

— Акшамас хайрысен, — уже совсем другим тоном ответил он, и тут же свирепо прикрикнул на собак, которые сразу присмирели, высунули языки и улеглись у его ног с сознанием выполненного долга, — теперь, дескать, поступай, как знаешь.

— Можно воды напиться? — спросили мы по-русски.

— Бери воду, — сказал чабан. — Такой воды нигде нет, горный вода. В Керчь в бутылках можешь возить, — руп наторгуешь, два прохарчуешь, мало-мало барыш есть.

Нет в мире народа приветливее и гостеприимнее крымских татар. Через пять минут мы уже знали, что зовут его Муртаза, что он все лето сторожит отары овец по склонам Яйлы и Карадага, а когда наступает осень и с моря начинает дуть норд-ост, возвращается к себе домой и зимует в Таракташе.

Пастух собирался провести ночь у водопоя. Быстро набрал сухого кизяка и хвороста и развел огонь. Из сумки вынул кусок соленой брынзы, завернутой в чистую тряпку, хлеб и несколько красных помидор и все это предложил нам отведать. Мы поблагодарили и тоже

предложили ему наши припасы. От мяса он отказался, но взял кусок вяленого лобана и с наслаждением начал его жевать... Костер разгорелся. При неровном его свете мы рассмотрели лицо чабана. Он был старый — темно-коричневая, почти пергаментная кожа была натянута на выдававшихся скулах, а вокруг татарских, узких глаз легла мелкая сеть морщин. На Муртазе была грубая бумазейная рубаха, порыжевшие штаны, сужавшиеся у щиколотки, с широкой мотней, самодельные постолы, и вытертая смушковая шапка, сдвинутая на затылок.

Покончив с едой мы улеглись у костра с подветренной стороны и спросили пастуха, где он спит все эти летние месяцы?

— Места много, — ответил он. — Когда тепло, на воздухе сплю, на бараньей шкуре, — мягко, хорошо, подушки не надо. Когда холодно — в шалаш иду. Хуже всего в грозу, тут не до сна, смотреть надо. Когда гром гремит, шайтан гуляет, бьет палкой в небесные даулы...* А овца глупая, грозы боится. Как гром ударит, надо вожака крепко держать. А то обезумеет от страха, побежит, и за ним вся отара, и бежать будет прямо, ни на что не глядя, и тогда — беда: все овцы насмерть могут побиться, прыгая вниз со скал...

— Что же ты делаешь в горах один? Скучно, небось?

— Почему скучно? Дураку скучно, а умный — думает.

Так лежали мы, подложив под голову наши дорожные мешки, смотрели на далекое море и на глубокое

---

* «Даул» — большой татарский барабан.

небо, в котором дрожали и переливались большие и чистые звезды. И когда одна из звезд упала, мы «задумали желание», а татарин привычно сказал:

— Убей, Господи, врага веры.

Я задремал.



После «Бежина Луга» не принято писать о ночных рассказах у костров. Но что же делать? Костер был, мы лежали вокруг, и когда я проснулся, луна уже стояла высоко над головой, а чабан что-то рассказывал моему другу по-русски, пересыпая свою речь татарскими словами. Я начал прислушиваться.

— ...Даже самый глупый баран в моей отаре тянет морду туда, где трава гуще. Так и человек. А Гази Гирей не был бараном. Много нажил он богатства и ни у кого не было такого большого дома ни в Таракташе, ни в Отузах, ни в Судаке, ни в целом свете. Было у него золото и серебро, имел он красивых жен, много коней и овец, а такого чауша и шаслы, какая росла на его виноградниках, не было даже у бахчисарайских ханов.

Во всех татарских деревнях знали о богатстве Гази Гирея и о его скупости. Жаден он был до денег, как голодная собака жадна до мяса, и чем больше богател, тем больше ему было нужно... Жадный человек не знает жалости. Бывают в наших местах засухи, или крупный град все побьет на баштанах и в садах, или заболеет виноградник, и схватится тогда за голову бедный татарин, мечтавший выгодно продать урожай муската и жить на это целый год. Много есть бедноты в татарских де-

ревнях. И хороший мусульманин отделит от себя бедному, что может: один даст барана, другой корзину душистых дынь, каравай хлеба, хоть горсть гороха, чтобы каждый человек был сыт и доволен своей судьбой. Такой у нас обычай! Через два месяца после Рамадана, перед праздником Байран Курбан, обходят муллы все дома и собирают подарки для бедных.

Приходили и к Гази Гирею. В этот день богач надевал самое старое и плохое свое платье, сидел на подушке, тяжело вздыхал и говорил:

— Ярамаз, пек ярамаз! Плохие, очень плохие дела...

И ни с чем уходил мулла, дивясь человеческой скупости и думая о том, что есть люди, у которых вместо сердца лежит в груди черный камень.

Много лет прожил Гази Гирей и много накопил он богатства. И когда наступила старость и он почувствовал, что скоро позовет его к ответу Аллах, заскучал богач. Что будет с сундуками, в которых лежит столько добра? Кому достанутся бухарские его ковры и на чьи руки перед намазом будут лить воду из его серебряных ковшей? Сидел старик один, перебирал янтарные четки, думал свое. Не было у него ни друга, ни советника, с кем можно было бы отвести душу. Видел он всюду только воров-хирсызов, никому не верил, тени своей боялся...

Чабан остановился в этом месте, покачал головой и, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Гази Гирею, изо всей силы, с презрением, плюнул в костер.

— Что же было дальше? — спросил мой спутник.

— А дальше было так. Прослышал он, что в город приехал мудрейший из мулл, всем муллам мулла, вели-

кий начетчик и знаток Корана. И позвал Гази Гирей в свой дом этого человека, усадил его на почетное место, опустил голову и стал жаловаться на свою судьбу. «Вот, мулла-эффенди, — говорил он, — дожил я до глубокой старости. Вчера был я молод, сегодня стар, а завтра люди будут говорить: «Неужели прошло уже десять лет, как умер Гази Гирей?» Много у меня чего накоплено и припрятано, и денег у меня больше, чем в море кефали. А вот теперь сижу я один в моем доме, люди сторонятся меня, и никто не приходит разделить со мной одиночество и мою скуку. Ты — мудрый человек, трижды бывал в Мекке, хорошо знаешь людей: за что не любят меня? Правда, не устраивал я праздников и не бросал денег с крыши моего дома, но богатства своего в могилу я не унесу. Нет у меня детей, состарились мои жены, и когда умру — все я оставлю бедным, все мое добро получат они после моей смерти. Почему же не любят меня люди?

Сидел мулла, смотрел на бедного богача, много думал, а потом сказал:

— Велик Бог в небесах, который наградил тебя богатством и умножил твои годы, Гази Гирей. Щедро отпустил он тебе всего, только не дал самого важного — души человеческой. Вот, хочешь ты отдать все богатство бедным, но только после смерти... А вот что я спрошу у тебя: знаешь ли ты, эффенди, за что люди любят домашних животных? Любят их за то, что животные при жизни все отдают человеку. Лошадей любят за то, что они работают в поле и тянут поклажу. Собаки стерегут твой дом, овцы дают шерсть, куры несут яйца, коров доят дважды в день, и даже самый последний ишак

старается при жизни, — возит воду, тянет на спине хворост и корзины с виноградом... Любят люди всех животных, кроме одной, нечистой свиньи. Ибо только свинья при жизни ничего не дает человеку. Но все отдаст она ему после смерти: свое мясо, сало, кровь, щетину, даже кишки... Вот тебе мой ответ эффенди.

На следующий день позвал Гази Гирей в дом всех таракташских стариков и мудрейшего из мулл. Раскрыл свои сундуки, заплакал и сказал:

— Хорошо ты говорил мулла. Забирайте все мое богатство, пока я жив. Раздайте его бедным, постройте школы и мечети, и пусть никто не посмеет сказать, что Гази Гирей жил и умер, как нечистая свинья.

Сказав это, поклонился он всем и ушел из дому, и больше никто не видел Гази Гирея и никто не узнал, где и как кончил он свою жизнь... Давно это было, много лет назад, но до сих пор помнят люди о Гази Гирее и прославляют его имя.

Луна давно скрылась за Карадагом и где-то далеко, на востоке, небо начало светлеть. Мы лежали у костра, дремали и смотрели, как начинался новый день. Все громче и смелей пели птицы в лесу, над морем быстро разгорался пожар, а потом сразу брызнули лучи и показалось огненное солнце. В утреннем свете лицо старика было усталым и печальным. Он встал, потушил костер и, направляясь к начинавшему блеять стаду, кивнул нам головой:

— Салахма! Прощайте.

К могиле святого на вершине Карадага мы пришли поздно, когда солнце стояло уже высоко и начало палить наши головы через татарские тюбетейки.

БУЗА

В Британской Энциклопедии о бузе ничего не сказано и это, конечно, существенный пробел. Если бы мне поручили пробел этот заполнить, я бы написал, что буза это — напиток, основанный на ферментации муки, соединенной с дрожжами. Напиток распространен на Кавказе и в Крыму. Процент алкоголя, который содержит буза, зависит в значительной мере... Впрочем, это уже сухой рецепт, а в бузе важен не способ ее изготовления, а чисто вкусовые ощущения. Что может быть прекраснее ледяной бузы в раскаленный июльский день, когда каблуки глубоко уходят в асфальт, и когда от зноя и лени трудно раскрыть глаза?

В детстве в дом наш приезжал знакомый коммивояжер из Лодзи, человек любезный, знавший хорошее обхождение. По крымскому обычаю его угощали бузой. С запотевшей бутылки осторожно снимали тонкую проволочку, освобожденная пробка с треском взлетала под потолок, а густая, пенящаяся буза лилась в граненые стаканы.

Коммивояжер брал стакан с таким видом, словно ему налили шампанское, осторожно отпивал глоток, зажмуривал глаза в экстазе и шептал:

— Ах, крымские вина!

Конечно, он был из Лодзи, и ему разрешалось принимать бузу за Абрау-Дюрсо. Но в нашем маленьком приморском городке все были искренне убеждены, что буза стоит гораздо выше самых лучших вин в мире, и что без этого нектара жизнь была бы не полной и лишенной всякой поэзии.

Для людей без воображения в скверике Айвазовского продавали сельтерскую воду с сиропом, который барышня нацеживала из четырех узких стеклянных колб. Сироп был разных цветов и сортов, вишневый, лимонный, абрикосовый или гренадин. Его размешивали в стакане длинной ложечкой, сельтерская вода била в нос и, по правде говоря, это было очень вкусно. Но никакой конкуренции с бузой двухкопеечная сельтерская с сиропом выдержать не могла.

Выпив бутылочку мы отправлялись на бульвар, где играл военный оркестр и сладко пахла цветущая акация. Мы шли развинченной походкой старых морских волков, лихо раскланивались со знакомыми гимназистками и небрежно говорили встречным приятелям:

— Мы уже набузились.

Все это было ужасно давно, и вспомнил я о бузе только потому, что один мой земляк и приятель решил построить на ней свое американское благосостояние. По приезде в Америку он долго пытался найти работу и все терпел неудачу. Его гоняли с места на место, он всюду приходил слишком поздно или получал туманные и ни к чему не обязывающие обещания, что его вызовут, когда появится работа. И однажды, в жаркий ньюиоркский день, измученный и обескураженный, он зашел в аптеку,

присел у стойки и заказал стакан сладкой коричневой бурды, слегка попахивающей лекарством. От напитка этого ему стало совсем грустно на душе и захотелось поскулить, — он вдруг вспомнил, какую бузу пил он в родном городе. Особенно хороша была буза у грузина на Приморском бульваре, под генуэзской башней. Подав бутылку на стол грузин цокал языком и приговаривал:

— Пей, кацо! Антик мурет с мармеладом.

Что это значило, никто в точности не знал, но слово мармелад несколько успокаивало.

И вдруг, как ослепительная молния, в голове моего приятеля блеснула мысль:

— Америка нуждается в бузе! И этот антик мурет с мармеладом фабриковать буду я...

Он блаженно закрыл глаза. Стены аптеки раздвинулись, растворились в розовом тумане, и он вдруг отчетливо увидел громадный рекламный плакат на Таймз-Сквере, сверкавший и переливавшийся всеми цветами радуги. На плакате была изображена чудесная девушка. На лице ее играла счастливая улыбка и она с вожделением поглядывала на бутылку бузы. И под этим рисунком аршинными буквами красовалась надпись:

The Original Russian Busa.

Это звучало великолепно. В Америке любят все новое. Что может быть лучше нового напитка? Напиток будет холодным, сладким, шипучим, и всего только один никель! Тут приятель занялся сложными математическими вычислениями и прикинул в уме, что если каждый американец хотя бы один раз из любопытства попробует напиток со звучным и экзотическим названием, это составит для начала сто сорок миллионов бутылок.

Будущий король американской бузы долго сидел в аптеке, мысленно подсчитывая возможные доходы и пренебрежительно поглядывал на напитки, которые заказывали несчастные клиенты, не подозревавшие о существовании настоящей бузы. Теперь все эти Кока-Кола были обречены на быструю гибель. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, — в капиталистическом обществе сильный всегда пожирает слабого. Американцам придется перейти на бузу, обладающую удивительными питательными и целебными свойствами. Можно будет даже специально приспособить бузу к американскому вкусу, — например, добавить в нее витамины Би или Ди, способствующие росту волос на голове и укреплению костей рахитиков.

Вечером в доме моего приятеля состоялся секретный военный совет. Мамаша сразу заявила, что такая мысль могла прийти в голову только круглому идиоту. Кто в Америке будет пить эту татарскую отраву? Почтенная дама явно недооценивала целебные свойства бузы.

Мамаша сказала еще несколько горьких слов о том, что некоторым приличным людям в жизни везет. У них дети работают, а не фантазируют, служат в конторе и раз в неделю приносят домой свое жалованье. Но если Бог хочет наказать, Он дает детей, которые становятся музыкантами или изобретателями. Что же касается бузы, то это очень просто: берут муку-крупчатку, разводят ее в кипятке, добавляют дрожжи, сахар и одну изюмину для брожения.

В эти первые годы своей жизни в Нью Иорке мой земляк снимал крошечную квартиру на Ист Сайде. Очевидно, квартирке этой было суждено сыграть историческую и революционную роль в производстве прохлади-

тельных напитков в Америке. Прецеденты были. Форд построил свою первую модель в сарае, который теперь превращен в музей; изобретатель Кока-Кола продал в первый год своей работы всего тридцать шесть галлонов жидкости. Они были типичными американцами, верили в успех и добились своего. Было очевидно, что первые лабораторные опыты по фабрикации бузы можно организовать у себя на кухне.

Основной инвентарь фирмы «Буза Инкорпорэйтэд» состоял из двух кастрюль, в которых мой приятель варил свой нектар «по старому континентальному рецепту», — фразу эту он решил обязательно использовать позже для рекламных целей. В Америке ценят старые континентальные рецепты. Кроме кастрюль, он запасся десятком разнокалиберных бутылок, найденных на кухне и реквизированных у соседей.

Через час буза была готова и торжественно разлита по бутылкам. Перед тем, как закупорить их, фабрикант вложил в каждую бутылку по изюминке. Это было нужно для пущего брожения. Так как изюма оставалось много, он решил сырья не жалеть и сунул в каждую бутылку еще по несколько изюминок. Это только могло усилить процесс «шампанизации».

Затем забил пробки, обмотал их проволокой, чтобы не выстрелили, и поставил всю продукцию в ледник.

Спал он в эту ночь плохо, часто просыпался и бормотал:

— Завтра утром я стану миллионером... Завтра утром Буза будет готова.

Теперь слово Буза он произносил почтительно, с большой буквы.

Удивительные картины проходили в его горячечном мозгу. Рождались и умирали звучные лозунги, восхвалявшие качества нового напитка. Дымились фабричные трубы, вырастали целые корпуса заводов, на которых производилась Буза. Караваны грузовиков выезжали со складов и развозили во все концы Америки тяжелые ящики, в которых аккуратными рядами стояли бутылки с густой, мучнистой жидкостью. Измученные жаждой люди входили в бары, опирались на стойку и бросали:

— **I will have a Busa!**

— **Small or large?**

— **Make it large!**

Под утро он забылся. Ему приснился цокающий языком грузин с бутылкой в руках, бережно снимавший проволоку:

— Ай, разорвет бутылку, кацо, ласково говорил грузин. Ужас, какая крепкая!

И бутылка в руках грузина разорвалась с такой страшной силой, что приятель мой вскочил с постели в холодном поту. В ушах его звенело и со сна он не сразу понял, почему в соседней комнате металась с воплями его мамаша. Понял он это только через несколько секунд, когда в квартире раздался новый оглушительный взрыв, от которого зазвенели стекла в оконных рамах.

Процесс шампанизации бузы подходил к концу.

Взрывы следовали один за другим, как во время штурма Малахова кургана. Казалось, что от сотрясения на голову сейчас рухнет потолок. На пороге кухни стояла мамаша. Лицо ее было белее ночной сорочки и глаза выражали героическую решимость:

— Ты не войдешь в кухню, — кричала она. — Тебя убьет взрывом бузы! Через мой труп!

Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта семейная сцена, если бы внезапно на улице не раздался вой сирены. К дому подкатил автомобиль, из которого на ходу выскакивали полицейские, вызванные напуганными соседями. Полицейские с грохотом бежали по лестнице, расспрашивая людей о том, что произошло? Окна во всех домах были широко раскрыты, и заспанные люди спрашивали, где случился взрыв. Ветеран, живший на третьем этаже, с видом эксперта объяснял, что взрывы произошли от ручных гранат, — он это хорошо знает!

В общем, даже полицейские не сразу решились открыть ледник, в котором время от времени продолжали взрываться бутылки, и из которого на пол текли мутные потоки бузы... Лабораторные опыты по организации широкого производства бузы на этом были прекращены. Мамаша грозила, что иначе она в тот же день съедет с квартиры.

Я лично убежден, что компания Кока-Кола существует и процветает до сих пор исключительно благодаря твердости характера, которую проявила в этот момент почтенная дама, наложившая на дело свой запрет. Если бы изобретатель проявил настойчивость и дух американского пионера, — он был бы теперь миллионером и президентом «Буза Инкорпорэйтэд».

Приятель мой все же вышел в люди. Он живет очень счастливо, зарабатывает много денег и всем напиткам предпочитает простое молоко.

ОЛЬГА

Перечитываю жгучие стихи Максимилиана Волошина, — горький плач и стенания о тех, кто погибли в страшные годы в Крыму, в нашем маленьком городе, около мыса Ильи Пророка.

Отчего перед рассветом, к исходу ночи,
Причитает ветер за Карантином?

Да, к утру, за Карантином, на высоком и обрывистом берегу, всегда причитал ветер. Печальное и пустынное это было место. Белела стена заброшенного Чумного кладбища, заросшего колючим кустарником и высокими травами, а на самом краю обрыва стояла часовенка Ильи Пророка, выстроенная когда-то по обету богатым греческим купцом. Во время страшной зимней бури погнало его судно прямо на скалы, где бурлила и клокотала белая пена. Вставала смерть из-за этой каменной гряды. Взмолился купец Илье Пророку, и вдруг шторм утих, улеглись волны, наступил штиль. И чудом спасшийся грек выстроил на этой скале белую часовню, чтобы далеко в море видели ее мореплаватели и молились чудотворцу.

В детстве мы приходили на эти скалы, ловить крабов, морских коньков, собирать скелеты рыб, которые выбрасывало на берег море. Вода была зеленая, совсем прозрачная, босые ноги скользили по камням, поросшим водорослями, крепко пахло иодом и рыбьей чешуей. Чудесное, неповторимое это было время. А несколько лет спустя страшное дело произошло над этим самым обрывом, и никто никогда не узнает, сколько людей в предсмертной судороге царапали руками каменистую глину и скольких расстрелянных поглотила здесь морская пучина.

Кто у часовни Ильи Пророка
На рассвете плачет, закрывая лицо?

Как странно и жестоко: для меня этот пустырь за Карантином, около часовни Ильи Пророка, навсегда останется самым поэтическим местом в мире. И женщина, которая плакала здесь на рассвете, закрывая лицо своими тонкими пальцами, плакала от счастья и любви.



Весна в том году пришла ранняя. Я почувствовал это в тот день, когда Ольга надела белую шляпу с фиалками и глаза ее вдруг засинели, — очень она была молода и хороша в это время. Весна всегда начинается с дамских шляпок. А на следующий день вдруг закапало с крыш, стали падать на тротуары хрустальные ледяные сосульки, исчезли двойные рамы, а вместе с ними пропали в окнах прокладки из ваты, украшенные нарезан-

ным цветным гарусом. Весна в Крыму приходит быстро и неожиданно. Чуть ли не через ночь все зазеленело, земля просохла, и на Фонтанчике старые маклера начали поговаривать о том, что скоро, слава Богу, можно будет надеть соломенные шляпы и сидеть за столиками на открытой террасе, за чашками кофе.

Для меня эта весна была особенная, ни на что не похожая, — я и теперь еще убежден, что звезды в эту весну были какие-то особенно крупные и мерцали они совсем иначе. Под вечер мы уходили с Ольгой за город, в сторону Карантина, где на просторе дул теплый ветер и под скалами глухо бил прибой.

Чаще всего мы встречались на Чумном кладбище. Странное это было место для любовных свиданий, но кладбище влекло нас своей грустной запущенностью и тишиной. Здесь было всего несколько безымянных могил. Плиты давно вросли в землю, потонули в травах и колючем чертополохе, на них нельзя было разобрать изъеденные и покрытые плесенью надписи, и ничто, в сущности, не говорило здесь больше о смерти. Однажды, когда мы сидели на гнилом пне, из-под плоского камня с шипеньем выполз встревоженный уж, посмотрел на нас умными глазами и исчез, и я потом долго целовал напуганную Ольгу и слушал, как под тонкой батистовой блузкой нервно и сильно стучит ее сердце.

Сторожа не было, ворота всегда оставались отпертыми. От кладбища протоптанная тропинка вела к часовне Ильи Пророка и тут мы устраивались над обрывом, лежали часами, молча глядя на белую луну, поднимавшуюся над морем, игравшую расплавленным серебром на воде. Внизу, под обрывом, бурлила белая пена, из-

редка ударяла волна, и этот гул только усиливал чувство тишины.

Все это было до того нестерпимо красиво и неправдоподобно, что напоминало театральную декорацию для балета, и я даже не уверен, не было ли поблизости кустов жасмина и соловьев? Может быть, был и жасмин и даже пели соловьи, но теперь я не припомню, а тогда мне было не до этого, — я был очень влюблен.

Это началось еще зимой, морозной ночью, когда я провожал ее домой, — гимназическая моя серая шинель была лихо распахнута и я уверял, что совсем не холодно, хотя уши порядочно пощипывало, но разве мог я признаться в этом? Мы шли в ногу, было беспричинно весело, хотелось читать стихи и под ногами хрустел свежий снег. Иногда мы ступали на подмерзшие лужи и тонкая ледяная пластинка со звоном ломалась. Около Лютеранской церкви мы остановились и Ольга сказала:

— Здесь мы расстанемся... Я живу за углом.

Должно быть, она поняла мой умоляющий взгляд, улыбнулась и села на низкий забор кирхи, слегка запорошенной снегом. Я сел рядом. В ночном свете лицо ее, закутанное в черный платок, казалось совсем бледным, а глаза смотрели спокойно и печально. Я слегка отвел рукой платок и начал ее целовать, — сначала холодные щеки с застывшими на них снежинками, потом глаза, и губы... И с этой ночи пошло что-то странное и великолепное, — я забросил книги, стал писать стихи, сломал тулью гимназической фуражки, чтобы походить на абитуриента, и однажды старший брат, заставший меня за писанием стихов, коротко и выразительно сказал:

— Болван.

Это было ужасно обидно, но что он мог понять в моих чувствах? Отшумела весна, исчезли подснежники и фиалки, распустилась в садах персидская сирень... Товарищи готовились к выпускным экзаменам, звали по вечерам на музыку в Лазаревский скверик, но я был с ними сдержан и сух и с наступлением ночи надевал свои «выходные» брюки со штрипками, белый, выутюженный китель и исчезал, — уходил на Карантин, где нам никто не мог помешать. Встречались мы на полпути, шли в гору, — мостовая кончалась, начиналась белая пыльная дорога, и иногда навстречу попадалась скрипевшая татарская мажара, ехавшая в город, на привоз.

— Почему мажары всегда скрипят? — спрашивала Ольга.

— Татары говорят: громко мажара скрипит, — честный человек едет, никого не боится.

Мы боялись встречи с людьми. В этом маленьком городке все друг друга знали, и мои загадочные свидания с замужней женщиной, женой известного и почтенного человека, скоро стали бы всем известны. Иногда, после утомительной прогулки за Карантином, Ольга начинала просить, чтобы мы куда-нибудь уехали, — в другой город, в деревню, — где нас никто не знает, где можно видеться, не скрываясь от людей.

Я был еще гимназистом и никуда уехать не мог.

Мы встречались теперь почти каждый вечер у ограды Чумного кладбища. Иногда, в душные ночи, в небе полыхали зарницы. Ольга прижималась ко мне и говорила:

— Навсегда?

Конечно — навсегда, на всю жизнь, — я не знал, что через месяц услужливые друзья расскажут все ее мужу, и он увезет Ольгу в другой, губернский город, и не даст нам даже проститься.

И еще через год кто-то мне сказал, — случайно и на ходу, что бедная Ольга Ивановна скончалась, — пошла на фронт сестрой милосердия, заразилась сыпным тифом и умерла в походном госпитале, на какой-то степной унылой станции. И, увидя, как побелело мое лицо, человек смутился и сказал:

— Разве вы не знали об этом? Простите, — ведь вы, кажется, были близкими друзьями?..

Так давно это все было — женская фигура на каменных, стертых ступенях часовни, синие, заплаканные и лучистые глаза.

Кто у часовни Ильи Пророка
На рассвете плачет, закрывая лицо?

КАФЕДЖИ

В НЬЮ ИОРКЕ, на Шестом Авеню, я увидел в окне магазина турецкий кофейник из красной меди, с длинной ручкой. Через минуту кофейник стал моей собственностью, — так была удовлетворена давняя и тайная мечта и воздана дань прошлому. Сейчас я начну, конечно, рассказывать о том, как готовят настоящее турецкое кофе, причем читатель должен будет закрыть глаза и сладострастно вдохнуть его пряный, душистый аромат. Как я ни старался, но в наших американских кофейниках, напоминающих лабораторные стеклянные колбы, получается у меня не кофе, а сомнительная рыжеватая бурда, лишенная всякой поэзии и вкуса. Может быть, это потому, что американское кофе тоже надо уметь готовить, а я учился варить кофе не в стеклянной колбе, а в медном кофейнике, да еще на мангале с древесным углем. Учителем моим был многоопытный кафеджи Хайдар.

Хайдар смотрел на свое ремесло кафеджи — человека, готовящего кофе — как на некий апостолат и служение человечеству. Был он молодой татарин из Тарак-таша. Должно быть, ему надоело вечно перекапывать

отцовский виноградник с наемными «кацапами», — так в Крыму называли пришлых русских людей, — опрыскивать, подвязывать, а потом таскать на голове тяжелые корзины с янтарным, сладким чаушем. Осенью распрощался с семьей и таракташскими друзьями и объявил:

— На город пойдем.

И ушел в Феодосию. Зиму проработал в порту грузчиком, а весной вдруг надел щеголеватую смушковую шапку, подпоясался тонким ремешком с серебром и стал кафеджи на поплавке Широкого мола.

Для крымчака чашка турецкого кофе это то же самое, что для француза — стакан белого вина, а для американца — молоко. Его пьют, сколько душе угодно, во всякое время дня и ночи, — кофе должно быть крепким, сладким, с каймаком. И сама то чашечка — крошечная, а в ней еще добрая треть кофейной гущи, плотно лежащей на дне. Пить турецкое кофе нужно умеючи; сначала каймак, потом два-три глотка крепчайшего нектара, а потом сразу остановиться: выпить до последней капли, но гущи не затронуть. После чего следует запить кофе глотком ледяной воды и предаться блаженному, созерцательному состоянию.

С поплавка Хайдара можно было увидеть много интересных вещей. По Широкому молу прогуливались москвичи, приехавшие на виноград; для «крымского стиля» они носили мягкие, войлочные шляпы или тропические шлемы «Здравствуй — прощай». Проезжали на линейках дамы в белых платьях, под кружевными зонтиками. Бежал вприпрыжку идиот-газетчик Юрка и захлебывающимся от восторга голосом, кричал:

— Наши наступают под Перемышлем, слава Богу! Сорок тысяч убитых, слава Богу!

Биржевые маклера в чесучовых пиджаках чинно шли на Фонтанчик заканчивать свои сделки; босоногие мальчишки продавали приезжим цветы, а цыганки на ходу предсказывали дальний путь, неожиданную любовь и просили барина позолотить ручку. Одним словом, каждый жил и действовал так, как было ему от природы предназначено. А Хайдар действовал у своего раскаленного мангала. Оперировал он одновременно десятком кофейников, — по одному на каждую чашечку. Был Хайдар человек веселый и приветливый, немного переигрывал свою роль азиата и, по-моему, из-за этого намеренно коверкал русский язык. Но у мангала он священнодействовал и не любил, когда его торопили. Если кофе требовал человек приезжий, явно незнающий порядков на поплавке, Хайдар ворочал в его сторону белками и мрачно говорил:

— Тохта, тохта, тобарджи!* Человэк нэ кофе, нэ убэжит!

Свои люди его никогда не тормошили, но если случалось лишний раз хлопнут в ладоши, Хайдар на минуту оставлял мангал, подходил к столику с видом детоубийцы и деловито справлялся:

— Аман сен? Ты здоров?

И преспокойно уходил назад, к своим кофейникам.

Да и куда нам было торопиться? Днем с рейда дул прохладный ветерок, море постоянно меняло свою окраску. Было оно лазоревым, и вдруг темнело, или пре-

* Подожди, подожди, господин.

вращалось в светло-изумрудное, а на горизонте вечно маячили паруса рыбачьих лодок. Когда под вечер тяжело нагруженные рыбой баркасы возвращались в порт, кафеджи свешивался с поплавка над водой, складывал руки рупором и кричал:

— Эй, Яни — Капитани, много кефали поймал?

Рыбаки отвечали замысловатой руганью по восходящей женской линии, и по их тону Хайдар точно знал, каков был улов, и сколько кефали, лобанов и барабули будет вечером на Привозе.

А ночью на поплавке опять собирались люди есть чебуреки и пить кофе. Теперь ветер дул в обратном направлении, с гор и из далеких садов, нес смешанные запахи акаций, цветущего олеандра и горького, степного чебреца. Под развалинами генуэзской башни уже играла музыка, в скверике Айвазовского с шипением горели угли калильных ламп, а на молу было тихо, полутемно, и парочки молча сидели на скамьях, глядя на море. Иногда, лениво поплескивая веслами, через бухту проходила лодка. Море за кормой вдруг загоралось зеленоватым фосфорическим блеском. Потоки золота широкими кругами расходились по поверхности, — это раздраженные веслом микрообразные «ночесветки» отпугивали своим блеском воображаемого врага.

Поздно ночью над морем начинался пожар: из воды поднималась медно-красная, громадная и неправдоподобная луна. Поднималась она медленно, постепенно менялись ее краски, и луна вдруг становилась нестерпимо яркой. От берега до самого горизонта море серебрилось, переливалось играющими лунными бликами. Нам тогда казалось, что все будет именно таким, неизменным,

до скончания веков, — эта лунная ночь, и оцепеневшие парочки на Мостике Вздохов, и даже студент в белом кителе, читавший вполголоса пушкинские стихи о Крыме:

Волшебный край, очей отрада
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда
Долин приятная краса.

А ведь все это кончилось, и гораздо раньше, чем мы предполагали. В нашем мирном городке появились какие-то анархисты-индивидуалисты; сынок железнодорожной будочницы Петька Новиков, с которым мы ловили голубей, стал военным комендантом города, а в Клубе Приказчиков, где раньше устраивали маскарады и любительские спектакли, теперь бушевали непрерывные митинги. Потом образовалось экзотическое татарское правительство Сулеймана Сулькевича, а несколько дней спустя на улице я встретил Хайдара. Он преобразился. На нем была форма кавалериста, штаны с красными лампасами и кривая шашка. При виде старого друга и любителя турецкого кофе Хайдар поднес к фуражке растопыренную пятерню, — так расслабленно начали козырять с начала революции, — стал во фронт и, свирепо вращая белками, закричал:

— Кримски Конный Батальон... шашки... выдергай!

Покончив, так сказать, с парадом, он улыбнулся и стал рассказывать, какая теперь хорошая и прочная власть:

— Большевиков нэ видно, нэ слышно... Крымски армий шутить нэ любит.

Крымская армия шутить не любила. И я понял это солнечным январьским утром, когда в городе поднялась вдруг пальба и суматоха. Всезнайка Юрка пробежал по Итальянской улице, но уже без пачки газет и без «слава Богу» и закричал, что большевики подняли восстание, режут татар, и что бой сейчас идет около казарм, где забаррикадировался Конный Батальон.

Часа через два все было кончено: в городе воцарилась советская власть. Часть татар прорвалась и с боем ушла в горы, другие остались лежать на казарменном плацу, там, где застала их смерть. Я пошел поглядеть на убитых, и первого, кого увидел в подворотне казармы, был Хайдар. Он лежал широко раскинувшись, и стеклянными, немного удивленными глазами смотрел в синее далекое небо, и рот его был слегка полуоткрыт, словно он хотел кому-то сказать:

— Тохта, тохта, тобарджи!

На этом кончается краткое жизнеописание бывшего кафеджи и славного кавалериста Крымского Конного Батальона.

Теперь остается только рассеять грустное впечатление и придумать для моего рассказа счастливый конец.

Рецепт приготовления кофе Хайдара я хорошо запомнил: немного воды, два куска сахара и полная, с верхом, ложечка турецкого кофе. Мешать и не давать закипеть. Как только каймак начинает подниматься, — быстро снять кофейник с огня, потом поставить на мгновенье обратно, снова снять и снова поставить на плиту. После трех раз кофе готово. Остается перелить нектар в крошечную чашечку и выпить.

С момента приобретения турецкого кофейника кончилась моя счастливая и беспечная жизнь. Начались муки творчества. Оказалось, что, кроме медного кофейника с длинной ручкой, нужно еще иметь и турецкое кофе особого помола. Турецкого кофе у меня не оказалось, но природный оптимизм подсказал, что можно обойтись при помощи мелко перемолотого местного кофе.

Чашка воды. Два куска сахара. Ложечка кофе... Каймак, — тот самый, настоящий. Аромат турецкого кофе, вся поэзия Востока, Тысяча и Одна Ночь.

Благоговейно поднес я чашечку ко рту и сделал первый глоток. И тут произошло нечто ужасное: рот мой оказался полон горькой кофейной гущи. Плох ли был помол, или что другое, — но гуща не садилась на дно, а упорно всплывала наверх и лезла в рот.

— Может быть, ты возьмешь ситечко и процедишь кофе? — участливо предложила жена.

Она не хотела меня обидеть. Жены никогда сознательно нас не обижают. Но в жизни я не слышал более оскорбительного предложения: процедить через ситечко турецкое кофе! Я отчетливо представил себе, как содрогнулась в эту минуту тень Хайдара, разгуливающего со своим мангалом по садам Аллаха.

Кофе я вылил. А затем заботливая жена заварила свежего чаю и поскорее перевела разговор на другую тему, — женщины в таких случаях проявляют чуткость и не любят топтать побежденного и повергнутого в прах человека.

ХАЙТАРМА

В СЕНТЯБРЕ, когда кончили сбор винограда, на двор пришел старик Кирим. Сдвинул на затылок лоснящуюся смушковую шапку, которую носил зимой и летом, широко улыбнулся и сказал:

— После Байрам-Курбана приходи к нам в гости. Будем сына женить на девушке. Три дня гулять будем, большой чалы * устроим. Жена просит, сын просит — приходи хайтарму танцевать.

Неужели Мамут женится? Были мы однолетки и друзья, вместе купались и совершали набеги на фруктовые сады. Было это все вчера, — мальчишки, и вдруг женится Мамут, заведет семью, хозяйство, станет серьезным татарином!

Осень была сухая, безветренная, — только небо стало особенно глубоким и синим и ночи — черные, многозвездные, какие бывают у нас в Крыму. По ночам с татарской слободки доносился шум — тридцатидневный пост подходил к концу. До утра жители слободки

---

* Гульба, праздник.

ели, пили, развлекались. Прошел Байрам-Курбан, наступил день свадьбы.

С утра на дворе Кирима суетились. Со всей слободки женщины тащили приготовленные дома блюда, накрытые чистыми, вышитыми полотенцами. Пахло свежевыпеченными лепешками, курдючным салом, острыми пряностями. Мужчины рано ушли в баню, крепко попарились и вернулись в чистых рубахах и праздничных бешметах. Но самый лучший бешмет был на Мамуте, — черный, с позументами, — его привезла невеста в подарок вместе с поясом уткуром и новой шапкой из лучших отборных смушек. Мужчины одобрительно смотрели на бешмет и хвалили, — должно быть делал его важный карасубазарский мастер.

Часа в три заиграла музыка и начали собираться приглашенные. Во двор входили мужчины, — женщины отправлялись прямо на свою половину, а детишки наблюдали за торжеством с улицы, через забор. Дома у татар маленькие, и в летнее время люди живут больше на дворах или на улице, так что столы расставили под открытым небом, а внутрь вошли только почетные гости. Очень я был доволен, когда Кирим предложил и мне войти внутрь, — должно быть хотел этим почтить мою старую дружбу с его сыном.

У татар в домах всегда очень чисто, а к свадьбе особенно прибрались. Набело выкрасили стены, утрамбованный глиняный пол накрыли свежими циновками, низкий потолок украсили вышитыми тканями, а диванчики вдоль стен коврами. У одной стены были выставлены два сундука с приданым невесты, и тут же ле-

жали ее перины и подушки. Все подходили, смотрели на приданое, трогали руками подушки из лебяжьего пуха и хвалили, — очень хорошие вещи дали за невестой.

Потом все расселись, старые женщины внесли круглые, низкие столики, тазики и медные кувшины, дали нам вымыть руки, и началось пиршество. Много лет прошло с тех пор, на многих бывал я свадьбах, но никогда не ел таких вещей, как у Кирима. Ели много часов подряд, сменялось бесчисленное количество блюд, и что это были за блюда! Начали с татарского супа с фасолью, потом подали молодого барашка с зеленым луком, баклажанами и помидорами, пилав из курицы и риса, фаршированный перец, а когда уж нельзя было дышать, прямо с огня сочные чебуреки, хорошо подрумяненные, с пупырышками на корочке. Вина у татар не полагалось. Запивали мы еду ледяной и крепкой бузой и бекмесом, сладким перебродившим фруктовым соком.

Мамут сидел в своем узком бешмете на почетном месте, как истукан, не двигаясь, и хоть буза и начинала бить в голову гостям, разговор шел серьезный, — не было в нем обычной свадебной игривости. Сосед мой, богатый садовод, хорошо говорил по-русски и от него я узнал, что он сосватал Мамута и Сарыч, — так звали невесту. Привезли ее в дом жениха накануне, она из деревни Куру Узень, — знаешь такую, около Алушты?

— Почему не знаешь? — удивлялся татарин. — В Алуште бывал? На водопад Джур Джур ходил? За водопадом долина открывается, — везде сады, деревья

растут, а на самом берегу моря и есть это место Куру Узень. Тебе каждый чабан* дорогу покажет... Из хорошей семьи Сарыч, ой, хорошая семья! Отец баштаны имеет, у него всегда первые дыни поспевают. Одна беда, воды мало, быстро стекает... Воды мало, солнца много, дыни сладкие, душистые. Я сказал: «Отдай Сарыч за Мамута, хороший человек, хорошо жить будут!» Отец подумал, немного порасспросил, кто и что, и ответил: «Скажи Кириму — пусть сына привезет, смотреть будем». Два дня смотрели, много гуляли, хорошо угощали. Кирим подарки привез, по нашему — калым, выкуп называется. — Очень был старик доволен — по рукам ударили...

Конца истории я не дослушал, так как подошла хозяйка и поставила поднос со сладкими лепешками с ореховой халвой, душистым рахат-лукумом и шербетом из груш. Потом начали разливать крепчайшее, ароматное кофе... Наконец, можно было выйти на воздух, посмотреть, что делается во дворе.

А там уже танцевали хайтарму. Танцевали только мужчины — выстраивались в кружок, по шесть, по восемь человек и медленно кружились с каменными, неподвижными лицами, притоптывая ногами и прищелкивая пальцами в такт. Как пела скрипка! Тоскливо, бесконечно, без начала и конца повторяя один и тот же восточный мотив... Два других музыканта вторили скрипачу, один монотонно бил то в барабан, то в бубны, а другой играл на «саазе» — татарской мандолине с длинным

* Пастух.

грифом. Играли только хайтарму, играли без устали, в крут вступали новые танцоры, и скрипач вдруг менял темп и с протяжного, высокого звука, внезапно сходил на веселый, плясовой ритм, и тогда быстрее притоптывали ноги и особенно гулко бил бубен.

Кончился день, давно уже наступила теплая, осенняя ночь, а хайтарма все продолжалась, и каждый прохожий, считавший себя другом дома входил во двор, чтобы съесть кусок баранины, выпить стакан бузы и посмотреть, как веселятся люди. Около полуночи вышел подышать воздухом Мамут, — он был усталый, какой-то печальный. Мы отошли под большое ореховое дерево, там было почти темно. Сели на колоду, помолчали, глядя на звездное небо, и потом я спросил, счастлив ли он?

— Чудак человек, — ответил Мамут. — Откуда я знаю?..

— Да ведь ты любишь Сарыч?

— Такой большой и такой дурной вырос... Можешь ты любить незнакомого человека? Мне Сарыч всего один раз показали, когда мы с отцом свататься ездили. Привели девушку, — смотрю, ничего не вижу! Маленькая такая в бешмете, а лицо чадра закрывает, — только и вижу глаза синие. Откуда у татарки — глаза синие? Это мне понравилось, и сразу я ее про себя назвал «Коккоз», по нашему значит голубой глаз. — Рассматривать очень тоже не полагается — не лошадь покупаешь! Вижу, из-под шапочки — косичек много, туго заплетены, волосы хной крашены, как полагается, и пальцы — тоже. Поклонилась она Кериму и мне, при-

несла кофе и вышла. Потом я тоже вышел, — старики между собой насчет всего и договорились.

— И больше ты ее не видел?

— Вчера видел, когда приехала. Сразу ее к женщинам отвели, а потом позволили со мной во дворе посидеть. Вот тут мы и сидели. Она чадру сняла, лицо показала. Красивая. За руку взял, только глазами в меня метнула, опять чадру надела.

Я слушал моего друга и не верил своим ушам: что за азиатчина! Росли мы вместе, учились в русской гимназии, сидели за одной партой и то, что Мамут был татарином, как-то забывалось, думали и чувствовали мы одинаково. И вдруг, в самом важном жизненном вопросе оказалось, что мой Мамут — настоящий татарин, будущую свою жену он никогда раньше не видал, едва обменялся с ней несколькими словами, и даже «калым» за нее заплатил!

— Послушай, Мамут, как же вы жить будете? А вдруг не полюбите друг друга? Что тогда делать?

— У нас все старики решают, — усмехнулся Мамут. — Вот эти самые вопросы я Кириму задал. А он все цитатами из Корана отвечает. Понимаешь, — ни единый волос не падет без воли Аллаха. — Значит, Сарыч — хочешь не хочешь, должна быть счастлива. А мое счастье? Отец говорит: «Не будь ишаком, будешь счастливый! Меня так женили, и отца моего так женили, — хорошо женили»... Трудно нам понять друг друга: я ему человеческими словами говорю, а он мне цитатами из Корана отвечает.

Опять мы долго молчали, прислушиваясь к музыке. Каждый думал о своем. Наконец, Мамут снова заговорил:

— Я тебе на вопрос не ответил: что будет, если не слюбимся? Плохо будет, стыдно. Если совсем невтерпеж, — посажу Сарыч на линейку, погружу ее сундуки, перины и подушки. Отвезу к отцу, а сам уйду отсюда. Может быть на север уеду, в Россию, или в Турцию подамся — там много наших татар. Меня недавно знакомый турок с собой звал, он на фелюге из Константинополя пришел.

Странный это был разговор, совсем не свадебный, — печальные поминки по свободной, холостяцкой жизни. Очень мы боялись тогда нашего будущего. Было такое чувство, какое охватывает пловца на мостике, перед прыжком в холодную воду. На мгновение зажмуриваешь глаза, напрягаешь мускулы и всем телом испытываешь нелепый и необъяснимый страх: ведь хочется прыгнуть, и знаешь, что сейчас, через мгновенье, все равно прыгнешь, а страшно.

Мы медленно пошли к дому. Была поздняя ночь, на узкой, извилистой улочке татарской слободки оставалось уже мало народу, и танцы прекратились. Но музыка все еще продолжала играть, — теперь музыканты играли что-то особенно заунывное и жалостливое, скрипка плакала и надрывала душу. Прощаясь с Мамутом я взглянул в сторону женской половины дома: в окнах был свет, двигались какие-то неясные фигуры, и одна из них была Коккоз, маленькая татарка с синими глазами.

Вскоре я уехал из города и вернулся только два года спустя, в разгар гражданской войны, на крыше сыпно-тифозного вагона. Через несколько дней в порту я встретил Кирима. Он постарел, лицо его стало цвета

дубленой кожи и под глазами появилась сеть мелких морщин. Я спросил, как Мамут?

— Мамут хорошо, — ответил старик. — Хорошо живет, около Отуз. Дом имеет, земли три десятины, табак разводит. Алта-табак, самый лучший сорт, лучше турецкого...

— А жена его?

— Сарыч? — пренебрежительно спросил Кирим. — Что с ней станет? Женщина, как женщина... Второго ребенка ждет. У нас в Коране сказано: «Рай женщины — под пятой у мужчины».

ТАЛИСМАН

В КАЖДОМ доме, в шкафу, можно найти коробку, туго перевязанную бечевкой, со старыми письмами и бумагами, когда-то казавшимися очень важными. Проходят годы, о коробке давно все позабыли, пока случайно ее не извлекают на свет Божий. Коробка лежит на полу с виноватым видом, и вдруг всем становится ясно, что именно из-за нее в доме стало тесно, что в шкафах больше нет места даже для очень важных вещей, и что этот немного загадочный и никому ненужный предмет мешает жить.

— Посмотри, что там внутри, и все ненужное выбрось, пожалуйста, — предлагает жена с деланной кротостью, не допускающей возражений.

Это очень интересное занятие, — просматривать содержимое старых коробок. Плотные пачки писем, которые я собираюсь перечесть уже двадцать лет и не нахожу для этого подходящего времени. Пусть лежат дальше. Когда-нибудь, в свободный вечер, нужно будет их разобрать. Какие-то летние фотографии с людьми, — ни одного имени я давно уже не помню. Мы провели вместе две недели в горах, снимались на скалах и около водо-

пада, при расставании клятвенно обещали, что будем встречаться и — никогда не встретились, и никогда друг о друге не услышали. Кто же это такие, — все эти мужчины в соломенных канотье и слегка полнеющие дамы в декольтированных летних платьях? А кто эта дама в широкополой фетровой шляпе, из-под которой так загадочно смотрят на меня томные глаза с лирической поволокой? Даму следовало бы выбросить, но вдруг становится жаль. Может быть, я еще вспомню. И карточка, вместе со многими другими, опять отправляется в коробку. Дальше идут газетные вырезки, постепенно превращающиеся в желтую труху, испорченное самопишущее перо, пачка тупых и изгрызанных карандашей, часы-браслет, сохранившиеся со студенческих времен. А это что? Со дна коробки извлекаю какой-то мешочек из зеленого плюша, затянутый тесемкой. Внутри аккуратно сложенная бумажка, и на ней, коряво и полуграмотно, выведено:

«Лягу я раб Божий помолюсь, встану я благословясь, умоюсь я росою, утрусь престольною пеленою, пойду я от дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чистое поле, во зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу в восточную сторонушку, как красное солнышко воссияло: припекает мхи, болота, черные грязни. Так бы прибегала, присыхала, раба Божия Нина о мне рабе Божием Андрее, очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли; спать бы она не засыпала, гулять бы не загуляла, аминь тому слову».

— Что за чепуха! — подумал я. — Откуда у меня это заклинание, в котором я прошу, чтобы «присыхала» по мне раба Божия Нина?

Нину я помню. Это было давно и, может быть потому, что в тайниках памяти лучше всего сохраняются очень давние события и образы, Нина так отчетливо выступает сейчас передо мной, со множеством деталей: легкий налет загара на молодом лице, очень светлые, почти прозрачные, серые глаза, не совсем еще развитые девичьи плечи и трогательные, выдающиеся ключицы. В это лето она носила какие-то особенно легкие платья, очень узкие в талии, волосы зачесывала назад, так, что они спадали широкой волной на плечи, говорила низким, грудным голосом... Кажется, она подражала какой-то знаменитой актрисе, которая приехала в город на гастроли и очень быстро свела всех нас с ума.

Конечно, я был влюблен, писал даже стихи, и по ночам мы сидели на молу, как завороженные, смотрели на лунное серебро, разлитое по морю, и целовались, пока лицо Нины не становилось совсем бледным. Тогда она медленно откидывалась и смотрела на меня удивленными и слегка испуганными глазами, и потом уже не было ничего, кроме удивительной тишины и ярких звезд в высоком, синем небе.

Днем мы встречались на раскаленных камнях у самой воды. Солнце палило невыносимо, в закрытых глазах плыли оранжевые и зеленые точки и диски. Иногда нерешительно набегала волна, лениво разбивалась о камни, взлетая вверх клочьями мыльной пены, и мы вздрагивали и ежились, когда ледяные брызги падали на наши распаленные солнцем тела.

Мы почти не говорили. Все важное было уже сказано, и только время от времени, даже не поворачиваясь

в мою сторону, очень тихо и настойчиво Нина спрашивала:

— Да?

— Да, — отвечал я.

— Очень?

— Очень.

И вскоре после этого она ушла от меня, ушла неожиданно и без объяснений, попросив лишь вернуть ей фотографию и письма. Это показалось мне тогда ребячеством и ненужной жестокостью, но только теперь, много лет спустя, я понял, что она была права: все эти письма неизбежно оказались бы в этой самой картонке, в глубине шкафа, забытые вместе с другими свидетельствами моего несложного прошлого. Я писал ей отчаянные письма, умоляя вернуться, ревновал к кому-то неизвестному, кто отнял у меня Нину, часами подкарауливал ее у дома, но она никогда не появлялась, а потом мне сказали, что она уехала в большой университетский город. Можно ли забыть такое горе? Нина снилась мне по ночам, я начал писать дневник, и вдруг, не выдержав, тоже уехал из города, где все ее напоминало, — бежал от воспоминаний, — они преследовали меня на каждом шагу, наполняли мою двадцатилетнюю жизнь невыносимой и сладкой болью.

Уехал я в жаркий августовский день на линейке под парусиновым навесом. Было нестерпимо душно. Лошадь в соломенной шляпе, из которой торчали уши, лениво плелась, на ходу стегала себя хвостом по бокам, отгоняя оводов и мух. Пыльная дорога лежала унылой, солончаковой степью. Видно было, как струился горячий воздух. Высоко, в бесцветном и мглистом небе, парил

ястреб. Куда хватал глаз, — вся та же голая, выгоревшая, какая-то древняя степь, редкие курганы, да высохший кустарник, чертополох, — дичь, глушь, одиночество. Какая тоска!

К полудню мы отъехали всего верст пятнадцать и остановились у Немецкого Хутора, с ветряком и несколькими пыльными тополями. Нужно было напоить лошадь, дать ей отдохнуть, да и нас самих разморило и клонило ко сну. Я выпил холодной, колодезной воды и прилег на траву, в тени деревьев, у самой дороги. Лицо пылало от полуденного зноя. Намочил платок водой, с наслаждением закрыл им лицо, и сразу в прозрачной мгле появилась Нина, «девичий стан шелками схваченный», светло серые испуганные глаза и единственные в мире теплые и покорные губы.

Должно быть, я заснул. Разбудил меня скрип колес, чей-то громкий смех и гортанный говор. По дороге, мимо хутора, тащилось некое подобие кибитки, крытой рваным брезентом. Босоногий, черноволосый цыган со шрамом на лбу и серебряной серьгой в правом ухе, вел под уздцы лохматого конька, угрюмо и осторожно ступавшего по глубокой, серой пыли. Рядом с ним шла молодая и тоже босоногая цыганка. Шла она какой-то особенно легкой походкой, слегка виляя еще неотяжелевшими бедрами, и в такт ее шагу на груди позванивали мониста и ожерелья из золотых монет и бряцали бесчисленные браслеты на тонкой, смуглой руке.

— Тэ драбакирэс прэ патря! Надо погадать ему на картах, — сказала цыганка своему спутнику, кивнув головой в мою сторону и, легко соскочив с дороги, подо-

шла ко мне и еще на ходу начала привычной, певучей скороговоркой:

— Дай, барин, погадать на счастье. Дальняя дорога тебе предстоит, талано — радость большая ждет тебя, только не пропусти ее, потом не вернется. За океан-моря поплывешь, дом новый будет, друзья верные, я тебе все расскажу... Позолоти ручку, барин!

Я молчал. Сознание после сна возвращалось медленно, а гадалка все сыпала скороговоркой, мешая русские слова с цыганскими, и все говорила про какое-то талано-счастье, ждущее меня за дальними морями, в чужой стране.

— А только вижу я, хорошая ты душа, мучаешься напрасно, по девушке зря страдаешь, слезы горькие льешь. Дай карточку вытяну тебе, всю правду скажу, потом благодарить будешь. Только сначала позолоти ручку. У тебя, барин, нос питерский, меньше чем за четвертак гадать не буду!

Я позолотил ей ручку, дал четвертак, и в руках цыганки вдруг оказалась пухлая, грязноватая колода карт. Она быстро их перетасовала, присела на корточки, рядом со мной. На пыльную траву легли в ряд девять карт. Цыганка молча на них смотрела, качала головой и потом забормотала:

— Дама червонная... Нанэ гавра гожона... Нет другой такой красавицы... А только валет трефовый мешает ей любить тебя. Забудь красавицу, барин. Тебе в жизни другая женщина поставлена, вырви эту из сердца...

Почему у червонной дамы глаза вдруг становятся светло-серыми и смотрят на меня так пристально и на-

смешливо? Как забыть Нину, как вырвать ее из сердца, цыганка?

— Не любовь у тебя, барин, а по-нашему дукха, болезнь или горе. Я тебе заговор за рублик продам, хороший заговор, испытанный. На груди носи, три раза в день читай, на заре утренней, в полдень и ночью, при звездах, — выйдет из тебя дукха, опять счастливый будешь...

Я встал, покачал головой и пошел прочь, сказать кучеру-татарину, что пора запрягать и ехать дальше. А цыганка шла за мной, мониста позванивали на ее маленькой и упругой груди, и она все старалась продать свой талисман.

— Рыба глаза имеет, а ушей у нее нет... Так и ты: смотришь, а не слышишь, что я тебе говорю. А потом мучиться будешь, пожалеешь, что меня не послушал. Заговор мой хороший, испытанный, тоску-печаль из сердца вырвет, девушка сохнуть будет по тебе, красавец мой... Дай рублик, барин!

Я дал ей рублик и получил мешочек из зеленого плюша и бумажку, заранее изготовленную, в которую вписала она имя рабы Божией Нины. Помню, как прочел я заговор, стыдясь самого себя, пожал плечами и сунул талисман в карман и, верно, забыл о нем тотчас после того, как цыганская кибитка скрылась за спуском на дороге. Долго смотрел я им вслед. Цыганка догнала мужа, отдала ему деньги, и они пошли рядом, разговаривая друг с другом, и почему-то я им позавидовал, — такой простой и бездумной была их жизнь по сравнению с моей, казавшейся мне тогда безнадежно и навсегда испорченной.

Каким образом заговор сохранился у меня все эти годы странствований, бесконечных переездов из одной страны в другую? Так много важного и ценного было за это время потеряно, утрачено на веки вечные, забыто, а мешочек с нелепым заговором, когда-то проданный мне крымской цыганкой, пережил все войны и революции, все житейские катастрофы, и чудом оказался в моей ньюиоркской, — которой по счету? — квартире. Заклинание я дважды перечел, слово за слово, а затем положил плюшевый мешочек на место, в коробку со старыми письмами и поставил назад, в шкаф.

Все же, цыганка меня не обманула. Очень скоро после этого я Нину забыл, получил свое талано-счастье, и позже встретил женщину, которая совершила со мной дорогу дальнюю, переплыла моря-океаны, и против любви к которой мне не помогут уже никакие заговоры и талисманы.

«ГИДРА» КЕРЧЬ

Гидра грузилась в Варне третий день. Под вечер подвезли на подводе провизию, — целую тушу быка, ящики с томатами, качкавал, хлеб. Запаслись водой и стали ждать приказа об отплытии. Погода была жаркая, ветреная. С плоского болгарского берега несло тучи песку и над городским садом «Мо́рской Градиной», где по вечерам мы гуляли гурьбой и покупали «свежи, пресни кифли», стояло желтовато-розовое облако пыли.

Сначала сошлись на корме палубные. Потом из кочегарки вылез Костя, потный, грязный, в залатанных парусиновых штанах, никогда не стиранных, насквозь пропитанных машинным маслом и угольной пылью. Разговоры шли обыкновенные, — такие, как всегда, с той только разницей, что перед плаваньем больше интересовались погодой, расстоянием до Констанцы и рассказами грузного, тяжелого боцмана, который побывал во всех морях и ко всему виденному относился крайне презрительно:

— Мелкий народ, — говорил он одинаково и о французах, и о китайцах, и о румынах. — Опять же —

такой жирной сельди, как у нас в Керчи, встречать не приходилось.

Боцман бывал в Румынии, куда мы теперь должны были уйти, ходил на торговых судах в Кюстандже, и теперь неохотно и скупо рассказывал новичкам о прибрежных полях, засеянных кукурузой, о русских рыболовах-скопцах под Добруджей, о румынских женщинах и многом другом. Боцман всю свою жизнь прожил на борту и весь мир знал только по портам и береговым кабакам. В Керчи оставил он немолодую жену. Боцман видел ее раза два-три в год, когда судно шло в Крым, за сельдью. Дома оставался он недолго и снова уходил в море, в очередной рейс. В каждом порту были у него приятели, и он заранее нас предупреждал:

— В Константинополь придем, — первым делом в турецкую баньку сведу вас. Вроде как наша, паровая, — только веника не проси, не понимают. Заместо этого ихний банщик тебе руки и ноги выворачивает и на спину коленкой нажимает. А потом поведу я вас, братцы, до одного приятеля-грека. Держит он в Галате ресторан. Дузику выпьем, закусим перцем и маслинами, а потом по порции шашлыка. Мелкий народ, а баня и шашлык у них подходящие...

На закате просвистали сбор. С капитанского мостика помощник закричал:

— Отдай концы!

По второму свистку матросы с кормы разбежались по местам, в разные стороны. Тянули сходни, подбирали мокрый, тяжелый и скользкий канат. Потом из трубы загудело тонко и протяжно, низко рявкнуло, и за кормой заклубилась зеленовато-белая пена.

«Гидра» задрожала всем своим корпусом, дала задний ход, и разом поплыла куда-то вбок пристань, на которой собрались мальчишки, чистильщики сапог. Прошли амбары, волнорез. Стал приближаться белый, высокий маяк.



В девять вечера кочегарка сменялась. На палубу снова вылез Костя, мокрый, потный, окунулся с головой в бак с холодной водой и вприпрыжку побежал по палубе — как был — голый — одеваться. Вслед кочегару кто-то кричал озлобленно с капитанского мостика:

— Бегаешь, сукин сын, голый! — и обкладывал его сочно: в печенки и селезенки. В кубрике Костя мял полотенце, ожесточенно растирал себе грудь и бормотал с идиотским видом:

— Кричи, кричи, глотка казенная... Которые на мостике видом развлекаются, белые кителя носят, а ты сиди под машиной в угле и в г...

Потом вдруг успокоился, взял гармонь и пошел на корму играть свой любимый марш «Прощай».

Ужинали в море пораньше, — в шестом часу. Кухарка Анисья, единственная женщина на судне, кричала:

— Вахтейный, иди, что ли!

— Есть, вахтейный! За шамовкой, готовсь!

Вахтенный скрывался на кухне и минуту спустя появлялся с глубокой лоханью дымившегося борща. В лохани плавали жирные куски мяса — ровно по числу обедающих. Команда рассаживалась неподалеку от кубрика, вокруг стола. Сначала молча выхлебывали борщ.

Потом боцман своим перочинным ножом, отточенным как бритва, делил мясо. Мясо ели просто, руками, тыкая его в горку крупной соли.

За столом говорили совсем мало: ели серьезно, сосредоточенно. Иногда прорывалось, кто-нибудь принимался за матерщину, и тогда рулевой Голубев, человек тихий и набожный, укоризненно поднимал глаза и говорил:

— Совести нет. Люди хлеб едят, а ты что говоришь? Ты, братишка, как ребенок малый, или стервец какой. Страха Божьего не имеешь!

Голубева слушались, уважали его, но почему-то потихоньку все же над ним посмеивались. Уж очень он был тихий и аккуратный. Всякий раз, придя в новый порт, рулевой тщательно брился, вынимал из сундучка синий, слегка помятый от долгого лежанья костюм и уходил в город, на прогулку. Возвращался на судно всегда раньше других, трезвый, очень довольный, переодевался в кубрике и потом любил обстоятельно рассказывать, что видел на берегу и с какими людьми познакомился.

Случилось как-то, обидели Анисью, жестоко посмеялись над женской ее слабостью. Была она единственной бабой на судне и много приходилось ей терпеть. Вечером на кухне плакала Анисья, злобно громыхала кастрюлями, чертыхалась, и Голубев утешал ее, говорил ровным, спокойным голосом:

— А ты, бабочка, не плачь. Плюнь, да и все... Они парни глупые, бугаи молодые. У них сила мужская, непочатая... А ты и виду не показывай, что они обидели тебя. Вот им и совестно будет перед людьми.

Сначала в кубрике косились на Голубева, а потом обтерлись, привыкли. Ничего, приятный человек рулевой. Жить можно.

⁂

По хорошей погоде делали двенадцать узлов. Но тут до Констанцы шли двое суток. Мешала баржа на буксире, груженная лесом, и было плохое море.

— Полундра, держись!

Шла полундра белая, мохнатая, свирепо била в борт, окатывала с головы до ног и потом рассыпалась пеной по мокрой и скользкой палубе, все перепутывая и переворачивая на своем пути. Шла от румынского берега крутая волна. «Гидра» давала крену и суденышко наше бросало в разные стороны, как ореховую скорлупу.

— На плоскодонке плывем, ребята, накажи меня Бог, жаловался Костя. — Зараз потонем, и ваших нет!

Ночью, в темноте, подошли к Констанце.

— Стоп машина! — кричал голос с мостика.

— Есть стоп машина!

Танцует на волне «Гидра». Танцуют на горизонте огни, вспыхивают и гаснут на далеком маяке зеленые и красные сигналы.

Красивый город Констанца, особенно с моря. Берег в зелени, видно казино, широкие бульвары. Утром спустили шлюпку. Капитан уехал к портовым властям, захватив с собой тщательно упакованную корзину с крымским вином. К вечеру часть команды тоже ушла на берег. Остальные прибрали судно, помылись, почистились. На корме, под брезентом, ели арбуз с хлебом, побросали

корки в воду и улеглись спать. Стало тихо, только где-то на берегу протяжно и отчаянно свистел паровоз. Спали до ужина, пока не зашло солнце.

Ночью вышло мне стоять на вахте. Хожу вдоль борта, смотрю на огни далекого города. Из темноты доносится тихий разговор:

— И всем бы нам по этому случаю пришлось бы погибать, — потому что темно совершенно и большая волна, а до берега, до косы, считай восемь верст... Только, понимаешь, час спустя подходит спасательный катер, ищет нас, сирена гудит. А были которые уже голоса подать не могли, либо далеко заплыли... Так, которых повытаскивали, а другие потопли, — четыре человека, и мальчонка, помощник кока. И лежали, мы, понимаешь, в гошпитале, хорошо лежали, только скучно было. А воды этой, самой, между прочим, наглотались порядком. Сильно через нее брюхо раздуло. Когда вытащили, думал — помру, а оказалось — пустяки. Через три недели опять в море ушел. Так-то, братуха, такие дела бывают...

Рассказчик помолчал. Потом две темные фигуры поднялись и лениво пошли к кубрику, — спать.



Скучно стоять на вахте. Прохожу вокруг судна, все спокойно. Потом с кормы кричу на баржу, подаю голос вахтенному.

— Василий, который час?

— Сиди, леший, уже умаялся! Успеешь выдрыхаться, душу твою!..

Снова тишина.

Заглядываю в кубрик. Там в потолке тускло горит электрическая лампочка. В полумраке видны восемнадцать грязных, деревянных коек, и только на четырех лежат полуголые люди, в ситцевых кальсонах, без рубах. Душно здесь, плохой, тяжкий воздух... На койках во сне ворочаются человеческие тела, моряки бормочут что-то невнятное, раскидываются широко, давят с просонья жирных клопов, которых изредка травят паром... Тяжело и густо храпит за перегородкой боцман, не пожелавший почему-то съехать на берег, — верно потому, что не любит румын и всех их считает жуликами... Скучно!

В час ночи с берега доносятся пьяные голоса и крики старшего механика и помощника:

— Вахтенный! Давай шлюпку! Вахтенный! Спишь, сволочь проклятая!

Шлюпка идет к берегу. От весел, далеко позади, расходятся круги, играющие в лунном свете. На берегу моряки бушуют и пьяно кричат:

— Веселей, вахтенный! Наддай ходу!

Светит большая луна. Мне восемнадцать лет, я читаю стихи и хочу плакать от одиночества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОГО ЖЕ АВТОРА

СТАРЫЙ ПАРИЖ. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. Распродано.

МОНМАРТР. — Изд. Я. Поволоцкого. Париж, 1927 г. Распродано.

ПАРИЖ НОЧЬЮ. — Изд. «Москва», 1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева. Распродано.

ТАМ, ГДЕ ЖИЛИ КОРОЛИ. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1930 г. Распродано.

ТАМ, ГДЕ БЫЛА РОССИЯ. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г. Распродано.

ЛЮДИ ЗА БОРТОМ. — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г. Распродано.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ОКЕАН. — Изд. «Нового Журнала», 1942 г.

ЗВЕЗДОЧЕТЫ С БОСФОРА. — Изд. «Нового Русского Слова», Нью Йорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина.
Второе издание, Нью Йорк, 1973 г.

СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК. — Нью Йорк, 1951 г.

ТОЛЬКО О ЛЮДЯХ. — Нью Йорк, 1955 г. Издание «Нового Русского Слова».

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ. — Воспоминания. Нью Йорк, 1962 г.
Второе издание. Распродано.

ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ. — Рассказы. Очерки «Под небом Испании». Издание «Нового Русского Слова», Нью Йорк, 1964 г.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ. — Очерки. Обложка Мане-Каца. Оформление Маргариты Гарвиной. Изд. «Нового Русского Слова», Нью Йорк, 1966 г.

THIS LAND OF ISRAEL. — Translated by Elizabeth Hapgood. The Macmillan Company, New York; Collier—Macmillan Ltd. London, 1967. Два издания распроданы.

ИЕРУСАЛИМ, ИМЯ РАДОСТНОЕ. — Издание «Нового Русского Слова», Нью Йорк, 1969 г.

Набрано в типографии Нового Русского Слова.
Метранпаж *И. ГАБА.*
Корректоры: *С. ШАПИРО* и *И. ЯСНАЯ.*
Линотиписты: *Ю. ШТАРК* и *Б. ОСЛОНОВ.*

Тираж 2.000 экземпляров.

Склад всех изданных книг Андрея Седых:
NOVOYE RUSSKOYE SLOVO
243 West 56th Street, New York City 10019

Printed in U.S.A.
WALDON PRESS, Inc.
216 West 18th Street
New York, N.Y. 10011
Phone: (212) 691-9220

СКЛАД ИЗДАНИЯ
Новое Русское Слово
243 West 56th Street, New York, N.Y. 10019